

Р2 Яр
К52

Наталья
Ключарёва

**В АФРИКУ,
КУДА ЖЕ
ЕЩЕ?**



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

Кермошовенон

Бидмогеле

и всег еѣ издательн

от автора

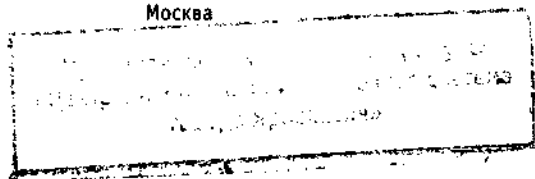
Клема —

Наталья Ключарёва
**В АФРИКУ,
КУДА ЖЕ ЕЩЕ?**

197019-2



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург
Москва



УДК 882
ББК 84 (2Рос-Рус)6
КТК 610
К 52

Ключарёва Н.

К 52 В Африку, куда же еще? — СПб.: Лимбус
Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2011. —
192 с.

Наталья Ключарёва известна как автор злободневных яростных романов «Россия: общий вагон» и «SOS!». Эта книга представляет другую грань ее таланта — Ключарёва еще и замечательный детский писатель.

Два отчаянных пятиклассника из поселка Сапожок отправляются... в Африку, куда же еще? Доедут они, конечно, не так далеко — всего лишь до Польши. Но полное опасностей и приключений путешествие станет для одного из ребят судьбоносным — там, в Польше, он найдет своего отца.

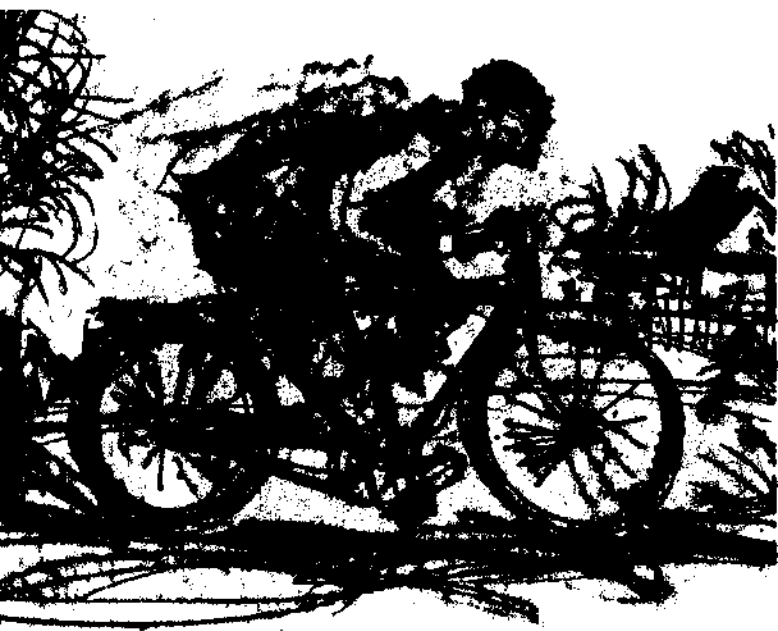
ISBN 978-5-8370-0595-4

© ООО «Издательство К. Тублина», 2011
© А. Веселов, оформление, 2011

www.limbuspress.ru

В АФРИКУ, КУДА ЖЕ ЕЩЕ?

повесть



До этого про рязанский Сапожок дальше райцентра Мырино никто и не слыхивал. А когда пятиклассник Жинжиков учудил свой подвиг, его училку Мискину, соседей, заплаканную мамку в халате и даже двух ничем не примечательных серых кур показали по телику на всю Россию.

Правда, сам Петька передачи не видел, ему потом рассказали. В тот месяц он даже «Вокруг света» не смотрел — поважнее были дела.

Школу Жинжиков не любил: там заставляли сидеть на одном месте и не вертеться. Да и идти до нее было всего два дома — тоска! Петька ужасно завидовал двоюродному братцу Витьке Коромыслову: у них в Самодуровке школу еще в прошлом году закрыли. И теперь каждый день возили Витьку в Мырино на желтом автобусе.

«Сейчас бы катил с ветерком, в окошко зырил», — печалился Петька, качаясь на стуле и глядя, как во дворе лениво лижет лапу пегая кошка Авоська.

Однажды училка Мискина учинила в Петькином классе допрос, кто кем будет, когда вырастет.

— Директором, — важно заявил толстый Филька Воеводин.

— Директором — чего? — Миска поправила вечно съезжавшие очки.

— Ничего. Просто — директором.

Все мальчишки, кривляясь и хихикая, повторили вслед за Филькой. Девчонки хором пожелали стать женами бизнесменов. Только Танька Щербинина из многодетной семьи сказала, что будет училкой. Все засмеялись, а Миска горестно вздохнула.

— Ну, а ты, Жинжиков? Тоже директором?

— Женой бизнесмена! — пискнул Воеводин и тут же схлопотал Петькиной линейкой по загривку.

— Жинжиков! Не драться! Отвечай!

Петька неохотно встал, насупился и признался:

— Фёдором Конюховым.

— Что-что? — брезгливо переспросила Миска.

Класс грохнул.

— Конюх Фёдоров! Конюх Фёдоров! — заливался на крыльце Филька Воеводин.

Петька отстреливался гнилой антоновкой и яростно выкрикивал:

— Филипп к печке прилип! Филипп к печке прилип!

Но было ясно, что печка бесит Воеводина гораздо меньше, чем Жинжикова — дурацкий конюх. Одно из яблок, просвистев над Филькиной макушкой, влетело в сени, из которых как раз выходила Миска. Удар пришелся прямо по злополучным очкам, висевшим на кончике ее длинного носа. Петька во весь дух пустился домой.

— Жинжиков! Вернись! — неслоь следом.

— Не дождетесь! — пыхтел Петька, продираясь сквозь дебри, бывшие когда-то школьным садом.

Минуту спустя Петька юркнул в калитку родного дома. Загромыхал в сарае дребезжащий на все лады велосипед.

— Я к Витьке! — Петька лихо запрыгнул на седло.

Из окна высунулась растрепанная мамка и замахнулась поварешкой:

— Я те дам Витьку! Цыганское отродье! Ну-ка, домой!

— Я быстро!

Петькина синяя куртка уже мелькала за забором. В ушах свистел ветер. Сердце радостно колотилось навстречу пустой проселочной дороге. Подмигивали из колдобин солнечные осколки луж.

Петька с Витькой шептались на чердаке, хрустя купленными в сельмаге чипсами.

— Мой папка — великий путешественник. Он сейчас в Африке. Едет на слоне и кормит диких страусов! — блестел глазами Жинжиков. — А вернется — привезет мне настоящий бумерангер!

— Врешь ты все! Страусов! В тюрьме, поди! — фыркал Витька. — А бумерангер — это че, тачка?

— Сам ты тачка! Это летающее оружие!

— Пистолет с крыльями!

— Понимал бы что! Сидят тут в своей Самодуровке!

— Это ты сидишь! Я-то каждый день в Мыррино катаюсь!

— А я... а я тем летом с Воеводой до Ростова доехал!

— Расскажи! — загорелся Витька, хотя слышал историю про Петькины похождения миллион раз.

— Значит, проспорил мне Воевода калейдоскоп и хотел зажать: «Он, — говорит, — в Рязани у тетки, после каникул отдам», а я ему: «Ищи дурака! Поехали сейчас же!» Два дня ломался, пока я его лейкой не поколотил... Сказал я, значит, мамке, что к тебе...

— Ё! А к нам потом участковый Карась приходил! Каждое мое слово на бумажку записывал! Как диктант! Ё!

— Значит, двинули. В Мыррино зашкерились в подбрюшьё к «Икарусу», куда сумки ставят. Едем, едем. Не видать ничего, а так нормально. Заснули, проснулись — едем. «Ну, и где, — спрашиваю, — твоя Рязань? Говорил — недолго!» А Воевода нюни распустил и заладил: «Домой хочу! Домой хочу!» Потом — уже светать стало через щелку — автобус останавливается, открывают нас, я Воеводу за шиворот и в кусты. Отсиделись, пошли за чипсами. А на вокзале «Орёл» написано...

Петька зевнул, и слова во рту потяжелели, замедлились:

— Решили, значит, на поезде возвращаться... На третью полку за матрасы залегли...

— А в Ростов-то как попали? — выплыла из дремы Витька.

— Так не в ту сторону сели...

— Врешь ты всё... — пробормотал Витька, засыпая. — Врешь всё...

Петька не спорил. Он без оглядки спал.

Наутро Петька попросился с Витькой прокатиться в желтом автобусе.

— Что, Вжинжиков, опять в кругосветку? — засмеялась молодая Витькина училка, обнаружив в салоне лишнего пассажира.

— Я по делу, — буркнул Петька, отвернувшись к окну.

— Мать-то знает? — не отставала та.

— Он со мной, — важно заступился Витька.

Автобус тронулся. Самодуровские на дороге внимания не обращали: за год уже насмотрелись. А Петька так и прилип носом к мутному стеклу. За окном в сизых сумерках плыли незнакомые поля, вырастали сельхозпостройки, похожие на бесхозные космические корабли, дымилась в кустах болотистые темные речки.

В Мыррино братья расстались. Витька отправился учиться, а Петька — болтаться по улицам. За два часа он вдоль и поперек обо-

шел весь райцентр, заглянул во все подворотни, облазил все закоулки, повздорил с двумя большими псами у магазина и даже поглазел на Мыррино с высокой колокольни, куда его пустил бородатый дядька в платье.

— Ты поп? — спросил Жинжиков, спустившись.

— Я дьяк, — дядька со связкой ключей ждал его внизу.

— А это кто? — Петька ткнул пальцем в другого бородача, нарисованного над дверью.

— Апостол Павел.

— А тот?

— Апостол Петр.

— Я тоже Петр!

— Молодец.

— А ты — Павел?

— Я дьяк.

Петька заскучал. Попинал желтые листья. Дядька запер колокольню и выжидательно вздохнул.

— А че они делали? — Петька тянул время: до конца Витькиных уроков оставалась еще целая вечность.

— Ну, ездили везде, народ крестили...

— И в Африке были?

Дьяк равнодушно пожал плечами:

— Наверно.

Погуляв еще немного, Петька зашел на почту, взял бланк, ручку, замотанную пластырем, уселся в уголке и написал:

«Дорогой мой сын Петр! Пишу тебе прямо из Африки. Тут тепло и баобабы. Они даже выше колокольни. Приезжай! И Витьку возьми, хоть он тебе и не верит. Сядем все три на моего верного слона Махаона и поскачем кормить диких страусов. Твой отец Жинжиков».

Витька Коромыслов стоял в глубокой луже и наблюдал, как грязная вода вздыхает ровень с кромкой его резиновых сапог.

— Пару вlepили. Батя выдерет, — мрачно сообщил он и стрючился. — Домой неохота.

— Удерем! — обрадовался Петька.

— Щас, — устало отмахнулся Витька, будто был старше его не на три месяца, а на целый год. — В Ростов, че ли?

— Зачем в Ростов? — не обиделся Петька. — Я там уже был, — и равнодушно добавил: — А нас с тобой... в Африку приглашают...

— Чего?

— Папка письмо прислал. В Африку зовет. И тебя, между прочим, тоже.

— Достал ты, Жинжиков! — разозлился вдруг Витька. — На нарах твой батя, а не в Африке!

— Сам ты! — захлебнулся Петька. — Коромысло! Самодурок! Сидорова коза!

— Это почему это я коза?! — вскинулся Витька и щедро зачерпнул сапогом воды.

— Потому что тебя выдерут! — мстительно выкрикнул Петька и зашагал прочь. — А я в Африку поеду!

За поворотом его догнал насупленный Витька.

— Ладно те, — буркнул он. — Это моя ма-маня про тюрьму брякнула, когда с твоей лаялась. А я-то че. Может, и нет.

— Ну, — с надеждой остановился Петька.

— А про Африку ты всё равно брешешь!

— Да?! А это видал?! — Петька сунул ему в нос мятый телеграфный бланк.

— «Дорогой мой сын Петр», — начал читать Витька. — Ишь ты!... Тут... бо-а... ба-бо... бабы! Гы-гы-гы!

— Чурбан! Баобабы! Это деревья!

Витька дочитал письмо до конца. Покачался на носках. Шмыгнул носом. Петька затаив дыхание, ждал.

— Ты это сам написал, — изрек, наконец, Витька скучным голосом и плюнул в канаву.

— Чем докажешь? — вяло спросил Петька.

— Ну, каракули, — протянул Витька, неожиданно потеряв уверенность. — Взрослые так не пишут.

— Он же на слоне скачет, балда! — рассмеялся Петька. — Вот буквы и прыгают! Ладно. Катись в свою Самодуровку. А я поехал. Передай мамке: скоро вернусь. Про Африку не говори — сковородой схлопочешь.

Петька широко шагал к автостанции. Витька семенил сбоку и заглядывал ему в лицо, порываясь что-то сказать. Но Петька смотрел не на брата, а на веселое синее небо в конце улицы. Увидев стоящий под парами «Икарус», Витька вцепился в Петьку и завопил:

— Так ты че?... Правда че ли?... Во чумовой!

— Дуй отсюда! — сурово одернул Петька. — Расчёкался! Всё дело испортишь!

Внезапно Жинжиков преобразился. Пригибаясь к земле, как в фильмах про индейцев, он подбежал к автобусу и шмыгнул во вторую дверь. Кондукторша, считавшая деньги на переднем сиденье, лениво обернулась, но никого не увидела.

Витька остался один посреди кривобокой мымринской улочки. Голова его кружилась от противоположных мыслей. Но он не успел

выбрать из них какую-нибудь одну. Взревел мотор, и Витька, не помня себя, сиганул на подножку. За спиной захлопнулась дверь.

«Мамочки, че я наделал?! — испугался Витька. — Ладно, сойду на следующей. И этого чудика заберу. Тоже мне, Африка!»

Но от переживаний Витька вдруг взял и заснул, прислонившись к запасной шине. Петька, не отрываясь, смотрел в окно. Со ступенек, где они прятались, были видны только вершины деревьев, но и это приводило его в восторг.

Когда стемнело, они были уже в Рязани.

— Ну, и че теперь делать? — занял Витька, оказавшись на незнакомой площади, продаваемой всеми ветрами. — На улице ночевать, че ли?

— Эх ты, чёкало! Увязалось на мою голову! — отмахнулся Петька, жадно озираясь вокруг. — Иди домой!

— Какое домой, Жинжиков?! — взвыл Витька. — Куда ты меня затащишь? Говорила мамка не водиться с тобой! Сидел бы сейчас у телика, котлету б жевал с картошечкой...

— Бабки есть? — перебил Петька.

— Ну, — неохотно признался Витька. — Батя сотню дал на завтраки.

197019-2
Муниципальное учреждение культуры
«Центрлизованная библиотечная система
города Ярославля»

Купив два гигантских пакета с чипсами, они отправились на вокзал. Витька хмуро жевал, сидя в неудобном жестком кресле, а Жинжиков, запрокинув голову, с упоением изучал расписание поездов дальнего следования. И поминутно бегал к огромной карте, висевшей на противоположной стене.

— Нашел! Нашел! — затряс он задремавшего Витьку. — Поезд до Бреста! Через полчаса! Бежим, надо разведать!

Витька приоткрыл один глаз, осоловело огляделся и подскочил. Вспомнив, где они находятся, он чуть не разревелся от жалости к себе. Но Петька уже тащил его к стеклянным дверям вокзала, за которыми угрожающе плескалась ночь.

— Ненавижу тебя, Вжинжиков, — огрызнулся Витька себе под нос.

Ругаться громко он не стал, боясь, что Петька его бросит. Это было бы еще хуже, чем какой-то Брест, о котором без умолку трещал «Вжинжиков».

Никто из пассажиров поезда «Москва—Брест» не выходил в Рязани. Сонные проводники, не опуская ступенек, курили и зябко позевывали в глубине тамбуров. Витька уже облегченно вздохнул, как Жинжиков метнулся к последнему вагону.

Витька неохотно потрусил следом, спотыкаясь на насыпи и проклиная неугомонного братца. Поезд лениво тронулся. Поплыли, смутно поблескивая, колеса.

— Руку! Прыгай! — закричал сверху Жинжиков.

Не успев опомниться, Витька протянул руку в темноту, схватился за что-то и взлетел на выступ, которым сцепляются вагоны. Поезд набирал ход. Витьке стало по-настоящему страшно. Холодный поручень, казалось, ожил и норовил вывернуться из мокрых ладоней. Витька вжался дрожащими коленками в качающийся вагон и зажмурился. Ночь с ревом неслась назад, в Рязань.

— Расшибемся! — заскулил Витька.

Ему никто не ответил. Испугавшись еще сильнее, Витька открыл глаза и осторожно повернул голову. Петька стоял на соседнем выступе, подставляя оглушительному ветру самозабвенно счастливое лицо.

— Ненавижу тебя, Вжинжиков! — отчаянно прошептал Витька и заплакал.

На рассвете поезд притормозил у безымянного разъезда. Братья, не стовариваясь, расцепили сведенные пальцы, спрыгнули и скатились по насыпи в утренний туман. Через минуту перед ними возникло поваленное де-

рево. Петька улегся на него и мигом засопел. Витька угрюмо обошел бревно, попытался пристроиться рядом, плюнул, сел на край, намереваясь чуть-чуть отдохнуть и двинуться обратно. Но незаметно привалился к брату и провалился в сон.

Проснулись они поздно. Недолгое осеннее солнце уже опустилось за кромку золотого березового леса, на опушке которого лежало их бревно. Чуть поодаль обнаружилась будка стрелочника. У крыльца, выкрашенного багровой краской, топтались две рыжие куры, празднично вспыхивая в лучах заката. Из-под выцветшего шлагбаума уходила в жухлые поля щербатая щебеночная дорога.

— Сейчас бы чипсов съел. Пакетов десять, — мечтательно потянулся Жинжиков. — Или хотя бы супу.

Витька, решивший больше не разговаривать с братом, презрительно ухмыльнулся в ответ. Но Петька и глазом не моргнул, подтянул штаны и вприпрыжку побежал к избушке.

— Куда? — невольно окликнул Витька. — Мало ли, что там за люди.

Но Петька только рукой махнул. Витька чертыхнулся и поплелся следом. Куры бросились врассыпную.





Внутри избушки было сумрачно. Единственное окно, наполовину заклеенное древними газетами, потемнело от многолетней железнодорожной пыли. За столом, под голой лампочкой сидел совершенно лысый человек в больших очках, перевязанных посередине бинтом. На нем была грязная оранжевая жилетка и валенки. Перед человеком лежала маленькая засаленная книжка с замысловатым шрифтом.

— А, проснулись, — стрелочник ни капли не удивился. — Ешьте вон, — он нагнулся, пошарил под столом и выложил на клеенку два огурца и полбуханки. — Чем богаты. Не ждал гостей.

Петька уселся на свободную табуретку, отломил хлеба и преспокойно захрустел огурцом, с любопытством заглядывая в книжку, которую читал лысый. Витька мрачной тенью маячил в дверях, стесняясь подойти ближе.

— Из интерната бежим? — не поднимая глаз, спросил стрелочник.

— Не-а, — беззаботно откликнулся Петька. — Мой папка — путешественник. В Африке. В гости вот позвал.

— Аврешь, однако, как детдомовец, — спокойно заметил лысый.

Петька надулся и слез с табуретки.

— Куда? — стрелочник глянул поверх забинтованных очков; глаза у него были голубые

и детские. — Тут заночуете. Всяко лучше, чем на дереве. Василиска только в шесть утра явится. Тогда и двинете. Она, как козу у нее свели, вашего брата совсем терпеть не может. Всех в милицию сдает. Вредная баба.

Лысый вздохнул. Петька вернулся на табуретку. Витька воровато схватил огурец и осторожно откусил, стараясь не хрустнуть.

— Далеко ли до станции? Как вас зовут? Что читаете? — выпалил Жинжиков почти без интервала.

— Ишь какой шнырок, — удивился стрелочник и степенно ответил: — По путям десять. Лесом — пять. Покажу тропку. А зовут Зовуткой. Вы же мне настоящих имен не скажете. И правильно сделаете.

— Ну, а книга? — встрял нетерпеливый Жинжиков.

— Псалмы царя Давида.

— Интересная? Про Африку есть? Почитайте!

— Хм, про Африку. Пожалуй, — лысый уткнулся в книжицу и зашелестел страницами.

Шуршал он долго. Витька успел проглотить свой огурец. Петька поковырял в носу и вытащил оттуда нечто, целиком завладевшее его вниманием. Старая муха вяло торкалась в стекло.

— «Глас Господа потрясает пустыню; потрясает Господь пустыню Кадес», — неожиданно загрохотал стрелочник, и с потолочной балки посыпалась труха; Петька подпрыгнул, Витька, на всякий случай, бросился к дверям.

— Понятно? — спросил стрелочник своим обычным блеклым голосом.

— Не-а, — признался простодушный Жинжиков, и Витька подумал, что сейчас им не поздоровится.

— Мне тоже много чего непонятно, — согласился лысый и потянулся к электрической плитке, на которой дремал заслуженный черный чайник. — Вот, например: «Выну очи мои ко Господу». Глаза, что ли, вырвать? Жуть какая!

Чай они пили, передавая по кругу большую алюминиевую кружку. Стрелочник замолчал и глядел сквозь них.

Вечером он долго курил на насыпи, карауля запаздывавший скорый поезд, а братья сидели на крыльце и смотрели в густую осеннюю тьму.

— А я вот считаю, что никакого Бога нет, — неожиданно произнес Витька.

У Петьки не было своего мнения на этот счет, только привычка — ни в чем не соглашаться с братом. Поэтому он шмыгнул носом и авторитетно заявил:

— Нет, есть!

— Тогда пусть ночью упадет это дерево! — Витька пнул росший у избушки толстенный вяз.

Петька расстроился. Он понимал, что вяз не упадет, а так глупо поспорить Витьке ему ни за что не хотелось. Он проскользнул в сени, наступил в потемках на спящую курицу, уронил коврик. Избушка наполнилась звуками погрома. Петька на ощупь искал пилу, чтобы ночью самому свалить злополучный вяз. Пилы не было, нашелся только ржавый перочинный ножик.

«Ладно, попробую», — подумал Петька, опуская ножик в карман.

Вернулся, проводив поезд, стрелочник. Уложил Петьку с Витькой на узком топчане. А сам, сгорбившись, сел под лампу. Спать в избушке больше было негде, и он приготовился всю ночь читать.

Иногда Петьку будила мысль о дереве, он открывал глаза и видел лысый череп, качавшийся в такт неведомым странным строкам.

«Угомонится, и пойду пилить», — решал Петька и нырял обратно в сон.

Ему снилось, что он бежит по родному Сапожку, вязнет в липкой грязи, мамка и Миска почти настигли его. И тут он взмахивает рука-

ми и взлетает. Летит сначала низко, над огородами, и Филька Воеводин пытается поймать его сачком. Но Петька ловко щелкает Воеводу по лбу и взмывает в облака. А за облаками — Африка...

— Эй, Африка, вставай, сейчас Василиска придет, — тряс его за плечо лысый; рядом ошалело моргал взъерошенный Витька.

Стрелочник спустил полусонных мальчишек с крыльца, вывел на тропинку и слегка подтолкнул в спины. Братья послушно засеменили прочь. Серый туман вставал поперек горла, лип к волосам, к ресницам, мешая открыть глаза. Рядом ухаля и волновалась невидимая птица. Лес вздыхал, ворочался, шелестел, зевал.

— Видел, Витька? — прорезался вдруг в тишине веселый голос. — Вяз-то упал! Прямо на рельсы! Или ты не заметил ничего, тетеря?

— Врешь ты все, Жинжиков, — с бесконечной взрослой усталостью отозвался Витька и потуже затянул капюшон.

За деревьями взошло солнце. Туман расступился, и в лесу стало просторнее. Витька сурово топал по тропинке. Он твердо решил, что приключений с него хватит: надо добраться до станции, купить билет и вернуться домой.

«А Жинжиков пусть катится, куда хочет! Я ему не сторож, — мрачно думал он. — Эх, и выдерет же меня батя! А все из-за этого... баобаба! Не буду больше с ним водиться! Лучше телик смотреть!»

Жинжиков лазил по бурелому, наваленному вокруг тропинки, трещал сучьями, сражался с зарослями, ойкал и визжал, когда за шиворот стекала ледяная роса. Витька старался не обращать на него внимания, но это было невозможно.

— Гляди! Гляди! — то и дело орал Жинжиков с таким восторгом, будто видел все в первый раз. — Дятел! Ящерица! Улитка! Изумруд! Изумруд!

Петька рухнул на колени, приложил голову к земле и восхищенно замер.

— Какой еще изумруд? — недовольно остановился Витька.

У корней огромной сосны рос мох. Капли, надетые на его нежно-зеленые пружинки, сверкали в лучах низкого солнца, как крошечные драгоценные камни.

— Это вода, Жинжиков. Обыкновенная вода, — покровительственно вздохнул Витька и пошел дальше.

— Какой же ты скучный! — крикнул Петька ему вслед.

— Я не скучный, я взрослый, — не оборачиваясь, поправил Витька.

— Взрослый? Ну и дурак!

Некоторое время они шли молча. Витька дулся на «дурака». Петька же расстроился, нащупав в кармане перочинный ножик: взял-то на время, а унес, получается, навсегда. Он шагал и напряженно придумывал, как вернуть вещь хозяину, и дойдет ли посылка, если на ней написать: «десять километров от станции такой-то, будка с курами, лысому стрелочнику лично в руки».

«На обратном пути отдам!» — решил, наконец, Петька и запрыгал по тропинке.

На станции Жинжиков с разочарованием узнал, что ни один скорый поезд тут не останавливается.

— Ладно, придется на электричках, — он не умел унывать дольше минуты. — Так даже интереснее.

— Я поеду в Рязань, — торжественно объявил Витька.

— Зачем? — изумился Петька. — Мы же только что оттуда!

— Домой, — ответил Витька и отвернулся, показывая, что не намерен это обсуждать.

Но Жинжиков не понимал намеков. Он подскочил с другой стороны и затараторил:

— Да ты сдурел? Чего там делать?

— Обедать, ужинать, телик смотреть, — Витька важно загибал пальцы. — Еще завтракать, конечно. Ну, и в школу тоже придется ходить.

— Скукотища! — Петька скривил такую рожу, будто лизнул дегтярного мыла. — А в Африке живут сфинксы! Это львы с человеческой головой! И с крыльями! Если приручить сфинкса, можно на нем улететь далеко-далеко, даже на другие планеты!

— Не хочу я на другие планеты, — перебил Витька. — Я домой хочу. Да и не доедешь ты на электричках до своей Африки.

— Доеду! Спорим, доеду!

— Даже спорить про такие глупости не буду!

Братья насупились и разошлись по разным углам зала ожидания. Витька сходил в буфет и купил на все оставшиеся деньги восемь пирожков с мясом. До дома он решил добираться зайцем.

Объявили электричку на Рязань. Жуя, он вышел на платформу. Смеркалось, и в ярко освещенном окне вокзала был хорошо виден Петька, упорно глазевший в расписание. Витьке вдруг стало жалко брата: как он останется

сейчас один на чужом полустанке, голодный, без денег, на ночь глядя. В пакете оставался последний пирожок.

— На поешь, — хмуро сказал Витька, подходя к расписанию.

— Во спасибо! Ты настоящий друг! — просиял Петька и, разломив пирожок, протянул половину брату.

— Не надо, — застыдился Витька.

— Ну, уж нет! Всё по-честному!

Раздался протяжный гудок. Братья обернулись. От платформы уходила рязанская электричка.

— А моя через десять минут, — задумчиво сказал Жинжиков. — Тоже последняя.

Витька растерянно огляделся. На деревянных сиденьях спал кто-то, скрытый кучей тряпья. На полу под ним, по-кошачьи свернувшись клубком, дрожала желтая дворняга с печальной мордой. В буфете ссорились пьяные: кричали, гремели стульями и двигали столы, будто собирались строить баррикады.

— Я с тобой! — струсил Витька и, спохватившись, добавил: — Не могу же я тебя бросить.

Электричка была почти пустой. Братья растянулись на жестких скамейках и мгновенно заснули. Петька слышал сквозь сон, как механический голос считает вслух километры:

«91-й, 93-й, 95-й...» Ему казалось, это сфинкс прилетел из пустыни и расхаживает по вагону на мягких лапах. Петька сиделся открыт глаза, чтобы посмотреть на сфинкса, но никак не мог. Приходил папка, говорил что-то важное, тряс за плечо, будил, а Петька все не просыпался, хотя и очень хотел.

Вдруг папка так больно дернул его за руку, что Петька закричал и вскочил. Над ним нависал пухлый милиционер с блестящей от пота физиономией и тусклой кокардой. Витька изо всех сил хлопал глазами на соседней скамье, будто пытался сморгнуть то, что видел.

— Приплыли, лебеди! — гаркнул мент. — Марш в отделение!

— Мы же ни в чем не провинились, — заспорил Жинжиков.

— Поговори еще! Прокурор разберется, на сколько лет ты не провинился!

Они вышли из электрички и побрели вдоль нее к светившемуся далеко в темноте зданию вокзала. Мент шел сзади, отдуваясь и тяжело хрустя галькой. Под фонарем он остановился прикурить. В ту же секунду Жинжиков схватил Витьку за руку и шмыгнул под поезд. Мент уронил сигарету, выругался и полез по ступенькам в тамбур: он был слишком толст, чтобы протиснуться под вагоном.

К тому времени, как он спустился, мальчишки уже пронырнули под пятью товарняками, стоявшими на соседних путях. Толстяк чертыхнулся, поводит фонариком по ближайшим цистернам, плюнул и пошел восвояси.

Остаток ночи они провели в пустом товарном вагоне, где было так холодно, что даже Петьке снилась не Африка, а вечная мерзлота. Она была одета в отрепья, из которых выглядывало синеватое тело, и тянула к Петьке костлявые пальцы, покрытые тонким льдом.

Наутро Жинжиков решил, что пора составить план действий. Голодать и мерзнуть ему надоело. Во-первых, надо было скорее удрать со станции, где ошивался опасный мент. Во-вторых, заработать на чипсы. Хотя он уже был согласен даже на манную кашу, если бы кто-нибудь предложил. И, в-третьих, следовало достать одеяло.

Витька оцепенело поплелся за Жинжиковым. У него не было сил спорить или изобретать что-то свое. В электричке он равнодушно откинулся на спинку и закрыл глаза, предоставив брату и думать, и действовать.

Очнулся Витька от странных звуков: Петька пел. Звонко, весело, не попадая, как всегда, ни в одну ноту. Слова в песне были на-

столько бредовые, что Витьке показалось, будто он продолжает спать. Петька пел:

Мы едем-едем-едем
В далекие края!
Подайте нам на чипсы,
Товарищи-друзья.
Из Африки далекой
Мы сфинкса привезем
И вас на нем прокатим,
И песенку споем!

Петькин голос удалялся. Витька открыл глаза и увидел брата, который шел по вагону, приседая и выкидывая коленца. При этом он не переставал на разные лады повторять свою чушь про сфинкса и чипсы. Люди вокруг посмеивались, качали головами и сыпали в Петькину кепку мелочь.

— Ишь, попрыгун! — умилялась на соседней скамейке тетка с кирпичным лицом.

— Палаше на пузырь клянчит, — строго возражал дачник, сжимавший коленями черенок лопаты.

— А поет-то, — заливалась толстая девушка в мини-юбке, — хуже, чем пьяный Калязин!

— Скажешь, Нютка! — откликнулся беззубый парень в татуировках. — Наш Калязя рядом с этим шибздиком просто Кобзон!

Витька сидел ни жив ни мертв. Ему казалось, каждое движение выдает в нем Петькиного брата. И все потешаются не только над Петькой, но и над ним. Ему было страшно стыдно.

Петька доплясал до конца вагона, отвесил заливчатский поклон и, прижав к груди сыто звякнувшую кепку, удалился в тамбур. Витька встал и хмуро двинулся следом.

— Ой, еще один! — приснула толстуха. — А ты нам ничего не споешь?

— Я не с ним, — буркнул Витька. — Я сам по себе.

— Ты чего позоришь меня? — зашипел Витька, нагнав брата.

Петька сидел на корточках в тамбуре и считал мелочь. Он поднял сияющее чумазое лицо и восхищенно произнес:

— Сорок восемь тридцать!

— Ты не мог хотя бы песню приличную спеть? — выговаривал Витька брату в станционном буфете, жадно глотая остывший рыбный суп: Петька хотел ухнуть всю добычу на чипсы, но Витька настоял на «нормальной еде».

— Да я не знаю ни одной, — оправдывался Петька с набитым ртом. — У нас в хате радио

давным-давно отрубили. Я еще в первый класс ходил.

— А в школе вас, чего, не учат? — снисходительно удивился Витька.

— Не-а, — Петька принялся вылизывать тарелку. — У нас музыкантши-то нет. Только на 9-е мая Миска нас к бабе Пане-ветеранке гоняет — концерты давать. А баба Паня глухая как пень! Зачем я ей буду песни учить? Встану, рот поразеваю, она и довольна: конфеты в карман сыпет. А конфеты-то — не раскусишь. Видать, трофейные.

— А я вот много песен знаю, — похвастался Витька. — Я по телику эстраду каждый день смотрю.

— Так давай ты петь будешь! — обрадовался Петька.

— Вот еще! — оскорбился Витька. — Че я — дурак? Перед людьми кривляться?!

— А чего такого? — не понял Петька. — Есть-то охота.

Остаток дня в электричке Витька учил брата популярным мелодиям. Петька представлялся, безбожно фальшивил и всё время норовил наврать что-нибудь свое.

— Зайка моя, я твой заяц, — начинал Витька.

— Китайка моя, я твой китаец! — отзывался Петька и растягивал пальцами глаза.

— Да ты что, запомнить не можешь? — злился Витька. — Двоечник!

— Так же веселее! — беззаботно хохотал Жинжиков, прыгая по тамбуру. — Я твой кит, я плаваю в океане! Ты прилетай ко мне в аэроплане!

— Нет! Там нет таких слов! — топал ногами Витька.

Ближе к вечеру они разругались в пух и прах. Петька убежал петь свои неправильные песни, а Витька обиженно уселся на заплеванный семечками пол и надул губы. Темнело. В щель между дверями задувал холодный ветер. От мысли о грядущей ночевке ему опять мучительно захотелось домой. Конечно, батя выдерет, и в школу ходить придется, зато еды вдоволь и спать тепло.

Тут Витька с ужасом понял, что уже не представляет себе, где находится, и сам никогда в жизни не найдет дорогу обратно. Весь маршрут, с пересадками, узловыми станциями и направлениями держал в голове Жинжиков. А уговаривать его вернуться — было бесполезно.

«Да где же он?» — вдруг спохватился Витька и перепугался, что Петька сбежал.

Он вскочил и быстро зашагал по вагонам. Электричка была почти пустой. Кое-где дремали припозднившиеся пассажиры, чей вид не внушал доверия. В голове состава шумно гуляла большая компания. Осторожный Витька туда соваться не стал.

В темном тамбуре он прижался к стеклу и, глядя на островерхие елки, заревел.

— Так и знал, что он меня бросит, — твердил Витька, больно стучаясь лбом в свое отражение. — Так и знал...

На следующей остановке компания вывалилась наружу, и до него долетели обрывки гогота и свиста. Облегченно вздохнув (пьяных он не любил и боялся), Витька заглянул в вагон — удостовериться, все ли вышли.

На ободранном желтом сиденье, глупо раскинув руки, лежал Петька. Было в его позе что-то такое, отчего Витька сразу понял, что брат не просто спит. Он подбежал и остановился, не решаясь дотронуться. Вокруг валялись пустые бутылки, окурки и пластиковые стаканчики.

— Жинжиков, — тихо сказал Витька и задохнулся. — Жинжиков, ты чего?

Он присел, чтобы послушать, бьется ли у Петьки сердце, но ничего не понял, так как его собственное колотилось на весь вагон. Элек-

тричка выла и содрогалась, будто кто-то догонял ее по рельсам и яростно бил.

— Жинжиков! — заорал Витька, что есть мочи, и затряс брата. — Прекрати!

Петька вдруг замычал, нагнулся вперед, и его вырвало. Витька отскочил в сторону и только хотел разозлиться, как вдруг его охватила такая буйная радость, что он запрыгал вокруг скрюченного Петьки и завопил:

— Не бросил! Не бросил! Не помер! Не помер!

Ни двигаться, ни говорить Жинжиков не мог. На конечной Витька перекинул через плечо его ватную руку, поднатужился и поволок, пугливо озираясь, нет ли поблизости ментов. Жинжиков скоморошьи перебирал ногами, спотыкался и тревожно спрашивал:

— Африка?

— Африка-Африка, — кряхтел Витька. — Чего же еще.

Они сползли с насыпи и через несколько шагов уперлись в нежилое строение, вроде сарая. Витька прислонил Петьку к стене, нащупал дверь и толкнул, она медленно отворилась. Сарай был набит некрупными камнями, но у Витьки не было сил разбираться что к чему. Он втащил брата внутрь, закрыл дверь и повалился на бок.

Проснулся Витька от монотонного бормотания и бумажного шелеста. В щели брезжило серое утро. Рядом сидел черт и слюнявил мятые купюры.

— Мама! — пискнул Витька.

— Какая я тебе мама! — отозвался черт голосом Жинжикова. — Пойдем пировать! Я вчера три сотни срубил!

— Петька? — недоверчиво окликнул Витька. — А чего у тебя рожа черная?

— На себя погляди! — хохотнул Жинжиков. — Всю ночь на шахте дрыхли!

Витька сел, озираясь. Горы угля уходили под потолок сарая. В углу стояли вразнобой лопаты.

— А-а, — зевнул он. — Понятно. Че с тобой было-то вчера?

— Напоили, — помрачнел Жинжиков.

— Да ты че!

— Копче! — заволновался Петька. — Усадили и стакан в нос. Хотел встать — держат. Лучше б, говорю, вы мне еды дали. А у них нет ничего, только водка. Тут один мне сотню сует. На, мол, закусь потом купишь. Я взял. Ну, и выпил. Чтоб по-честному. Остальные тоже стали бумажки совать. Я пару раз хлебнул и отрубился. Просыпаюсь — уголь кругом. Рядом ты храпишь, а в кармане — три сотни.

— Я не храплю!

— А то! — на черном лице Жинжикова вспыхнули белые зубы. — Как мопед без глушителя!

Отмывшись ледяной водой из колонки, они отправились за едой. Магазин находился тут же, на привокзальной площади, однако по дороге Жинжиков умудрился несколько раз поставить их обед под угрозу. Витька едва успел оттащить брата от игровых автоматов, земля вокруг которых была густо усыпана шелухой от семечек и окурками.

Стоило им миновать опасное место, Петька уже прилип к фонарному столбу, где висела пыльная афиша цирка-шапито.

— За прошлый год, балда! — Витька сердито подтолкнул его к магазину.

Под розовой вывеской «ПРОДУКТЫ», аккуратно опустив ноги в канаву, полную оберток от мороженого, сидел высокий человек в форме железнодорожника. Синяя куртка его была вся в засохшей грязи, карманы брюк вывернуты наизнанку, в черные волосы набилась осенняя труха. Мужчина держался за голову и громко стонал.

Витька не успел перехватить Жинжикова.

— Эй, ты чего? — присев на корточки, Петька потряс высокого за квадратную коленку.

Тот перестал стонать и замер, косясь на мальчишек страждущим карим глазом.

— Тебя с поезда, что ли, выгнали? — продолжал допытываться Петька.

— Нет еще, — с трудом ответил человек. — А может, да. Ляд его знает, — и снова застонал.

— Так чего ж ноешь?

— Анжелика, — выдавил из себя высокий и отчаянно замолчал.

— Жинжиков, пойдем, а? — Витька дернул брата за шиворот. — Охота тебе ввязываться во все подряд!

— Может, ему деньги нужны? — задумчиво пробормотал Петька.

Железнодорожник замотал головой, и с волос его посыпалась солома.

— Карман жгут? — зашипел Витька, вспомнив, как мамка ругала батю в день зарплаты. — Нейдется сбегать? Отдай мне! Целее будут!

В магазине они опять поругались из-за чипсов, и Витька, наконец, отнял у брата всю выручку.

— Чьи это вы будете? — сощурилась на них продавщица, похожая на снежную бабу, слепленную дошкольниками.

— Свои, — солидно ответил Витька, пряча за пазуху вареную колбасу.

— Безобразовские, что ли?

— Сказал бы я, кто тут таковский, — прошептал Витька, еще не решавшийся вслух спорить со взрослыми, и сунул в карман плавленый сырок. — И чипсов дайте. Так уж и быть.

Когда они вышли из магазина, в канаве уже никого не было. Петька покрутил головой и увидел в конце улицы сутулую фигуру в синей форме. Склоняясь почти до земли, железнодорожник послушно плелся за девчонкой в веселой желтой куртке. Два белобрысых хвостика торчали у нее из макушки, как антенны.

— Че рот разинул? Втюрился? — прыснул Витька и ловко увернулся от Петькиного кулака.

Они уселись под одинокой стеной, возвышавшейся над жухлыми лопухами на задах станции. Витька жевал степенно и вдумчиво, а Петька с набитым ртом вертелся и озирался по сторонам. Ничего примечательного вокруг не было, только на сером кирпиче прямо у них над головами едва виднелась робкая карандашная надпись:

«Яковлев! Тебя любит девачка из «Б» класса!»

Проглотив последний кусок, Жинжиков унесся смотреть расписание, а Витька лениво растянулся на припеке, зевнул во всю пасть и в этот миг тоже увидел признание про Яковлева.

«Наверно, та писала, хвостатая», — неожиданно загрустил он.

Жинжиков вернулся с вокзала с ворохом новостей: электрички дальше не ходят, зато завтра здесь остановится скорый поезд, а человек в канаве — машинист Негода, у которого месяц назад сбежала жена Анжелика. Девчонку в желтой куртке зовут Люська, это его дочка от первой жены, тоже сбежавшей, только давно.

— Точно втюрился! — ехидно заметил Витька. — Уже и про семейство разузнал!

— Да я че, — растерялся Петька. — Про поезда спросил, а мне кассирша — видал, говорит, Негода у нас как задымил? Вчера едва штаны не пропил...

— Зря стараешься, — перебил Витька. — Люська твоя всё равно Яковлева любит.

Дорогу им перебежала меченная чернилами белая курица. Она вытягивала шею параллельно земле и крутила бедрами, как пловец кролем. Жинжиков подобрал валявшуюся в траве битую антоновку, обтер рукавом и в мгно-

вение ока сгрыз. Мимо них, надсадно скрипя спицами, проехала на велосипеде грузная женщина в резиновых сапогах и махровом полотенце, намотанном на голову, как чалма.

Кривая улочка, по которой они шли, была неуловимо похожа на райцентр Мыррино, и даже чужие собаки, скалившие зубы из-под заборов, казались знакомыми и своими. Витьке опять захотелось домой, но уже не так сильно, как раньше, он даже удивился. Жинжиков уплетал яблоки, и, казалось, думать забыл про родной Сапожок.

Тем временем, о пропаже двух деревенских школьников узнало областное телевидение. Из Рязани в Сапожок прикатил зеленый микроавтобус с оператором Мишаней и корреспонденткой Альбиной внутри.

Пока Альбина на высоких каблуках ковыляла по торосам грязи к местной школе, Мишаня, присев на березовый чурбан, снимал солнце, поэтично светившее сквозь рябиновые кисти.

— Жинжиков? — Миска оторвалась от классного журнала и глянула поверх очков на городскую журналистку. — Эк вы угваздались, из Рязани пешком идете? А Жинжиков-то, наверное, в Африку подался. Он у нас — того, пассионарий. Пусть только попробует

вернуться! Я его все прогулы отработать заставляю! Так и напишите в своей газете, пусть знает, если еще читать не разучился.

— Мы с телевидения, — надменно поправила Альбина. — Где у вас тут можно обувь помыть?

— А зачем? Всё равно опять вымажетесь, — фыркнула Миска и почувствовала свое превосходство.

— Снимаем? — равнодушно поинтересовался Мишаня, заглядывая в класс и кивая то ли на Миску, то ли на кадку с фикусом.

— Ну, сделай пару кадров, — зевнула Альбина. — Я пока пойду к директору.

— Ага, поди, поищи, грязнуля, — прошипела Миска ей в спину. — Директор-то тоже я!

— Вы? — лениво удивился Мишаня, переводя камеру с кадки на Миску.

— Я, Мискина Алевтина Анисимовна — директор школы, учитель всех классов, сторож и истопник, — кокетливо отрекомендовалась Миска. — Я тут вообще одна работаю.

— Вот как, — проямлил Мишаня, выключая камеру. — Очень интересно.

Узнав, что из Рязани приехали «снимать кино про Петьку», в школу влетела расхристанная Петькина мамка. Влетела и заголосила с порога, будто сын мог ее услышать:

— Цыганское отродье! Лишь бы шлѣндать!
Лишь бы балбесничать! Весь в папашу!

— Так, а отец у него где? — спросила подоспевшая Альбина, изо всех сил подмигивая Мишане, чтобы тот снимал.

Но Мишаня стоял спиной и увековечивал битву петуха и пегой кошки Авоськи.

— Где?! — Петькина мамка всплеснула руками и буйно захохотала. — Я бы тоже хотела знать — где? Где его черти носят одиннадцать лет?! А ведь обещал: вернусь, женюсь... — она скривила рот и заревела.

— Зинка, дура, не позорься! — высунулась из кабинета Миска.

Меж тем у школьной двери собралась вся деревня Сапожок.

— Он меня прошлый год в Ростов сманил! — выкрикивал толстый Филька Воеводин.

— Я расскажу! Я всё знаю! — тараторила многодетная мать Щербинина, укачивая последнего, десятого по счету, младенца. — Его папаша за Хватовым оврагом землю рыл. Сказались археологами. А я так думаю — клад искали! Бороды отрасли для конспирации. Откопали — и поминай как звали. В Америку, поди, удрал!

— Скажи им там, родима, чтоб довольствие подняли! — митинговала глухая ветеранка баба Паня. — Уже крапиву едим!

— Какую бороду? — кипела зареванная Петькина мамка. — Не ври, чего не знаешь! Это остальные с бородой были, а мой — молоденький, гладенький, песни пел, звезды показывал. Лебедь, Лира, Кассиопея... Чтоб ему пусто было, гастроному паршивому!

— Ладно, сворачиваемся! — поморщилась Альбина. — Всё понятно!

Деревня Сапожок, взбудораженная приездом телевизионщиков, еще долго толпилась у школы, обсуждая обоих Жинжиковых, старшего и младшего. За околицей, красиво облокотившись на кривую изгородь, Альбина рапортовала в камеру:

— Проблема отсутствия системы дополнительного образования на селе стоит особенно остро...

Мишаня зевал, чесал затылок и гадал, успеет ли снять спящую на завалинке козу, или она проснется, пока Альбина толкает речь.

В крохотном сквере, у ног облезлого Ленина, братья держали совет. Разговор буксовал на месте.

— Надо сесть в поезд и вернуться в Рязань, — утверждал Витька.

— Надо сесть в поезд и ехать дальше, — перечил Петька.

Рядом в осенней траве валялась пластмассовая машинка. Витьке ужасно хотелось подобрать ее, но он изо всех сил старался не интересоваться всякими детскими глупостями. А Жинжиков так увлекся очередными враками про Африку, что ничего вокруг не замечал, даже игрушку.

Вдруг парк огласился могучим ревом. Из боковой аллеи выкатилась коляска. Сидевший в ней младенец разевал рот, тужился и вопил так, что закладывало уши.

Казалось, коляска едет сама по себе. Но вдруг из-за нее вышмыгнула та самая девчонка в желтой куртке. Она быстро обшарила куст и снова скрылась за коляской, только хвосты остались торчать.

«Да она малявка!» — обрадовался Витька.

— Люська! — заорал Жинжиков. — Машинка тут!

Коляска набрала скорость и на всех парах подлетела к памятнику.

— Держи свой драндулет! — Люська обтерла колеса и сунула машинку младенцу. Тот мгновенно повеселел. — Всю голову мне провопил, кондрашка!

Люська перевела дух и сверкнула глазами на братьев.

— А вы кто такие? Я вас не знаю.

— Еще бы! Мы — путешественники! — гордо ответил Жинжиков, а Витька нахохлился и засопел: бойкий тон малявки ему совсем не нравился.

— Путешественники! — фыркнула Люська. — До соседского забора!

— Неправда! — взвился Жинжиков. — Мы в Африку едем!

— Ну да! Из Безобразова в кино пришлепали и завирают!

— Сама оттудова, — буркнул Витька, но его реплику никто не заметил: Петька с Люськой закричали каждый о своем, младенец швырнул машинку в траву и радостно присоединился к общему воплю.

— Вот у нас в школу цыгане ходят, — сказала Люська, наоравшись, — так те хотя бы из Крыма. Да и то. Какие ж это путешественники — уже год на месте сидят. Дворец в полях отстроили.

— Цыгане? — заинтересовался Петька. — У меня папка — тоже цыган.

— Че ты брешешь? — встрял Витька и тут же пожалел: малявка глянула на него с таким изумлением, будто только что заметила.

— Меня ж мамка цыганским отродьем зовет, — пояснил Петька. — Значит, папка — цыган.

— Нет у них отцов, — Люська почему-то перешла на шепот. — Только барон.

— Барон! — потрясенно выдохнул Петька: в его голове пронесся фильм про мушкетеров, и он моментально вообразил папку верхом на слоне, но в кружевном воротнике и шляпе с перьями. — Мой папка — барон!

— Я тебе одну вещь расскажу, — придвинулась Люська. — А дальше сам решай, твой ли. У нас школу из-за бедности закрывали. И наша Наташа — ну, учительница — пошла к барону денег просить. Он же страшный богач, все пальцы в золоте. А он ей говорит: «Руку поцелуй, тогда дам!»

Жинжиков-старший скакал по пустыне уже без перьев и кружев.

— А она? — затаил дыхание младший.

— Что она, дура? Плюнула в него и ушла!

Витька почувствовал себя лишним. Он тихонько слез с постамента и зашел за спину Ильичу. Оглянулся. Брат с малявкой даже не смотрели в его сторону. Ему стало ужасно грустно. Он поковырял опавшие листья, достал из кармана утаенный от Петьки сырок и мстительно съел.

— Как же вы без карты едете? — прилетел с ветром пронзительный Люськин голос.

«Спелись», — горько подумал Витька и с тяжелым сердцем принялся за второй сырок.

На макушке Ленина гарцевала взъерошенная ворона. Последние листья, потемневшие от непогоды, трепыхались на вершинах парковых лип. В голове у Витьки было нехорошо: мелькали одинаковые платформы, со свистом промахивали покосившиеся столбы, стонали и вытягивались вдоль шпал бесконечные рельсы.

«Когда же это кончится!» — тосковал он, а дорога, поселившаяся внутри, свивалась, изворачивалась и била хвостом, скаля зубы станций и полустанков, среди которых потерялась, проглотилась навек родная Самодуровка.

— Эй, кляксич! — высунулась из-за памятника хвостатая. — Все сырки-то схомячил? Дуй сюда!

От смущения и возмущения Витька чуть не задохнулся. Ботинки, казалось, приросли к земле, пустили цепкие корни в глубь почвы. Шея окаменела, как у Ильича: Витька не мог повернуться. Голос ушел из горла, словно вода из дырявой канистры, а вместе с голосом пропали и слова, которыми можно было бы поставить на место зазнавшуюся малявку.

Когда в парке стало подозрительно тихо, Витька нерешительно пошевелил плечами, будто проверяя свою способность двигать-

ся. За памятником не было никого, только валялась колесами вверх оставленная машинка, похожая на опрокинутого жука. В конце аллеи желтела противная куртка, и Жинжиков размахивал руками, как пугало. Витька изо всех сил пнул пластмассовый самосвал и поплелся вдогонку.

Через несколько кварталов они свернули во двор двухэтажного каменного дома. По грязно-розовым стенам расползались трещины в палец толщиной. Поперек двора тянулась веревка с хлопавшими на ветру простынями. Один ее конец был привязан к ржавому турнику, а второй — к сучковатому фонарному столбу, в котором еще угадывалось бывшее дерево.

— Квартира номер шесть! — крикнула у него над головой малявка.

Витька неохотно поднял голову. Из раскрытого окна уже высовывалась довольная физиономия Жинжикова:

— Давай живей! Тут картошка вареная!

— Пусть сначала за водой сходит, — донеслось из глубины, но Витька предпочел этого не слышать.

В темном коридоре он споткнулся о кучу обуви, боднул какую-то дверь.

— Не туда! — настиг его вездесущий голос. — Там Негода спит!

На кухне кипела работа. Люська стояла у плиты на табуретке и мешала дымящееся вариво. Жинжиков, кривляясь, тер чугунную сковороду. Младенец на высоком стуле пытался засунуть в рот собственную пятку.

— Ну-ка! — неслись во все стороны малявкины приказы. — Тебя разули, чтоб ботинки не ел, так ты за носки взялся? Не отлынивай, скреби дочиста! А ты чего застыл, статуя недельный, вон ведро, колонка за помойкой!

Эта кутерьма продолжалась до вечера. Петька с Витькой носились как угорелые, Люська командовала, младенец Борька всем мешался, а Негода спал в закрытой комнате и иногда протяжно кричал во сне: «Анжелика!»

На ночь глядя Жинжиков с малявкой отправились в парк на поиски машинки, а Витька остался с орущим на весь дом Борькой.

«Кляксич какой-то! А потом вообще — статуя недельный! — кипел он, вяло дрыгая погремушкой. — А этот! Брат называется! Тут же на ее сторону переметнулся! Подлиза! Бабник!»

— Ухандокалась! — пожаловалась Люська, стуча по тротуару туфлями беглой Анжели-

ки. — А ведь сейчас один заснет, второй — очухается. И опять — корми, утешай, следи, чтоб не сбежал из дому. Какой же вы, мужчины, хлопотный народ!

— Да ну! — отмахнулся Петька. — Поехали лучше с нами в Африку! Там готовить не надо — само собой растет всё!

— Ну да! — передразнила Люська. — А Борьку с Негодой я кому оставляю?

Петька вздохнул, зевнул и почесал затылок.

— А сам-то ты чего забыл в своей Африке? — строго спросила Люська, став неуловимо похожей на мамку и на Миску.

— Так папка у меня там...

— Знаю я эти ляляки! Я в детстве про свою так же выдумывала: она и певица на гастролях, и дипломатка в Китае, и женщина-космонавт... А на самом деле я ей просто не нужна! И ты своему не нужен, будь он хоть трижды африканский путешественник! Зря ты его ищешь! Я вот — ни за что не буду! И пусть только попробует вернуться!

— Непустишь?

— Я скажу ей: здесь тебя не ждали! — отчаянно закричала Люська в темноту ночных улиц, и Петьке стало страшно. — И ты нам ни капельки не нужна! Без тебя справимся! Катись в свои заграницы!

Люськин голос отскочил от каменных стен, зазвенел в сонных стеклах, натянул тетиву проводов и выстрелил в небо. Из черной дыры подвала утробно мяргнула невидимая кошка. И снова все притихло. Только стучали по асфальту слишком большие туфли маленькой Люськи.

— А я вот ищу, — робко произнес Петька. — Мало ли.

— Ну и дурак!

Петька не стал спорить. Вместо этого он вдруг встал на руки и пошел за Люськой, ступая ладонями по мелким камушкам и городскому сору.

— Дурак и есть! — засмеялась собиравшаяся заплакать Люська.

Жинжиков месил ногами воздух и улыбался глупой перевернутой улыбкой.

Во сне Витька увидел отцовские инструменты. Плоскогубцы, рубанок и шило со стамеской. Они лежали на большом пне возле сарая, и на них сеялся мелкий дождик. Витька рассматривал инструменты и дивился — обычно ему вообще ничего не снилось.

«Ух ты! Вещь!» — выдохнул над ухом восторженный голос Жинжикова.

«Не то что твои вагоны-фигоны!» — хотел ответить Витька, но язык вдруг сделался тя-

желым и ленивым, как тюлень. От усилия сдвинуть его с места он проснулся.

— Ух ты! Вещь! — повторил Петька, и Витька приоткрыл глаз.

Он лежал у стенки на большом продавленном диване. На другом краю шептались эти двое. В руках у хвостатой была связка странных прямоугольных карандашей.

— Двери в тамбур, в вагон, в туалет, в подсобку, в любое купе, — перечисляла Люська. — Я так до Бреста докатилась, только на границе сняли, зазевалась.

— А Негода не хватился? — восхищенно спрашивал Петька.

— Подумал, что спяну потерял, новые заказал делать. Отрутали его, конечно. Мне жалко, а я молчу — потому что нефиг всяких Анжелок в дом водить! Сильно ее не любила в начале. Только когда Борька родился, помирилась.

«Ключи проводников! — догадался Витька. — Украду! И домой! Пусть без меня милуются!»

— Вот подрастет, и вместе двинем, — продолжала меж тем Люська. — Я страсть как люблю кататься!

— В Африку к нам приезжайте! — пел свое Жинжиков.

— Ты глобус видел, неуч? Туда на поезде — никак!

— Ну, потом на корабле. Еще лучше!

У Витьки засосало под ложечкой от развернувшейся перед ним необозримой перспективы.

«Украду! И удеру!» — еще раз решил он и с облегченным заснул. На этот раз без всяких сновидений.

А Петька во сне опять скакал по дюнам верхом на слоне Махаоне. Сзади сидел Жинжиков-старший, держал его за плечи и счастливо смеялся.

«Так что? — оборачивался к нему Петька. — Ты ждешь, что ли?»

«Жду, жду!» — откликался тот, а Махаон перемахивал через развесистую пальму.

«Не жду! Не жду!» — кричала в своем сне маленькая Люська, и старые пружины скрипуче плакали у нее под боком.

Младенцу Борьке снился заполненный машинками парк. Машинки выглядывали из-под каждой лавки, росли на деревьях, ехали друг за другом по широким проспектам аллей, стояли на плечах каменного великана и даже летали в облаках...

Машинист Негода бесшумно ел на кухне теплый суп.

«Где же она их прячет?» — спохватился Витька, проснувшись. — Надо было вчера подсмотреть!»

— Нам Люська такую вещь подарила! — ворвался в комнату сияющий Жинжиков.

В его кулаке победно звякала связка железнодорожных отмычек. Витькины надежды рухнули, как весенний сугроб с водокачки. И в голове опять завертела хвостом безжалостная дорога.

Вечером под бдительным руководством Люськи братья без труда открыли закопченную зеленую дверцу и забрались в последний тамбур притормозившего у станции поезда. Витька обернулся. У него за спиной мрачно ржавела покатая насыпь, и барахтались в сумерках два белобрсых хвостика. Вдруг над ними выросла, покачнувшись, литровая банка супа.

— Держи, Емеля! — окликнула малявка, и хвостики ехидно дернулись. — Да смотри, не объедай брата!

«Какой я тебе Емеля!» — приготовился возмутиться Витька, хватая кренящуюся банку.

— Люська! — завопил у него над ухом Жинжиков. — Я вернусь! И женюсь на тебе!

— Тебя еще мне ждать не хватало! — огрызнулась снизу Люська.

Поезд тронулся. Проплыла мимо освещенная станция. В одном из ее окон проплыл со-

гбенный машинист Негода, распекаемый низкорослой кассиршей. Проплыла одинокая стена с неразличимой надписью: «Яковлев, тебя любит девачка из «Б» класса». Проплыли домики и заборы, смутно похожие на далекий райцентр Мыррино. Мелькнул, обдав сыростью, городской парк. Обрушился, затараторил о своем встречный поезд. А когда он оборвался, вокруг уже был лес.

Витька вздохнул и осторожно закрыл дверцу. Петька торчал в другом конце тамбура и упрямо пялился в темноту.

«Точно — втюрился!» — подумал Витька. Но легче ему от этого не стало.

В коридоре скрипнули половицы, и по их жалостному, просительному звуку участковый Ефим Карась сразу догадался, что это опять явилась травить ему душу бывшая одноклассница Зинка.

— Фим, ну, Фим... — затянула она еще из-за двери.

— Не вернулся? — строго спросил Карась, опережая Зинкин вопрос, с которым она приходила к нему каждое утро.

Петькина мамка вошла в кабинет, с жадной надеждой всмотрелась в лицо Ефима и покорно расплакалась. Участковый заерзал на

стуле и отвернулся. В дальнем углу над почетным дипломом областной спартакиады работников милиции качалась лохматая от пыли паутина.

«Надо снять», — в очередной раз подумал Карась, всегда натывавшийся взглядом на паутину во время Зинкиных визитов.

— Фим, а, Фим, — хлюпала она. — Это за что же мне такое?

Ефим нахмурился, сурово налил воды из желтого графина и поставил перед Зинкой.

— Миска говорит, сама виновата, воспитывала, мол, плохо, — жаловалась та, утирая рукавом покрасневший нос. — А чего плохого? Одет, обут, щи всегда в печке. Даже велосипед в комиссионке купила. Конечно, руль погнутый — да где ж я ему новый-то возьму?!

Зинка опять залилась слезами. Ефим осторожно открыл кобуру и зачерпнул оттуда горсть жареных семечек.

— Угощайся, — буркнул он, насыпая на стол маленькую горку.

— Фим, а, Фим, — Зинка машинально защелкала семечками. — Ну, рассуди ты меня.

— Чего тут судить. Ведутся поиски. По районам посланы ориентировки.

— Фим, да они давно из области удрали! Кого тут ориентировать!

— Я тебе не Фим, а сержант Карась! И ты мне мою работу не указывай! Сам знаю!

— Фимка, балбес, ты ж его так никогда не изловишь!

— Ты! Ты вообще по какому праву тут находишься?! — взвился уязвленный Карась. — Сегодня нет приема граждан! В пятницу приходи!

— Фим, а, Фим, не ерепенься! Я ж тебе улику принесла!

— Какую еще улику?

Петькина мамка торжественно достала из кармана сложенный пополам конверт с портретом академика Павлова на картинке.

— Письмо прислал? — обрадовался Карась.

— От него дождешься! — Зинка вытащила из конверта тетрадный листок и вручила Ефиму. — Вот, полюбуйся!

Старательными большими буквами на листочке было выведено:

«Здравствуйте, уважаемая Петькина мать. Вы меня не знаете. Я знакома вашего Петьки. Они проезжали через место, где я живу, и мы подружились. Не волнуйтесь о нем, он живой и здоровый. Он, конечно, нехорошо сделал, что заставил вас переживать, но вы на него не серчайте. Про-

сто у него такой шептливый характер. Тут уж ничего не попишешь. С приветом, Люся».

— Невесту нашел, — расплылся в улыбке Ефим. — Шустрый пацан!

— Я ему дам невесту! Я ему устрою с приветом Люсю! — заголосила Зинка.

Участковый Карась заткнул уши и опять увидел косматую паутину над дипломом спартакиады.

— Да хватит тебе пауков разглядывать! Сюда смотри! Видишь, штемпель?

Карась налился алой краской, как после бани.

— Ну?

— Смоленская область! Смоленская-я! А ты всё сено на соседнем поле ворошишь! Придется, Фим, к начальнику твоему ехать!

— Стервь ты, Зинка! — выдохнул участковый Карась. — Житья от тебя нету!

— Это ты меня, несчастную мать, стервью ругаешь? — Петькина мамка подпрыгнула и, уронив хромую табуретку, бросилась к выходу.

— Напялил портупею! И думает всё можно! Рыбешка! — крикнула она с порога.

С первого класса любой их разговор почему-то всегда заканчивался скандалом.

Вечер в этот день наступил удивительно быстро. Из-за дождя уже после обеда стало

смеркаться, улицы райцентра Мымрино обезлюдели, и только старый пес, похожий на потрепанного медведя, покорно мок напротив магазина, думая о чем-то невеселом.

Участковый Ефим Карась завел служебный газик и поплыл по огромной луже, начинавшейся прямо от милицейского крыльца. Добравшись до места, где первая лужа впадала в другую, еще более глубокую, машина чихнула и заглохла. Ефим обругал мотор, но в глубине души обрадовался: поездка в Сапожок отменялась по объективным причинам.

Кое-как допрыгав до конторы, Ефим вернулся в свой кабинет и, вздохнув, поднял трубку. Говорить по телефону он не любил, но это было все-таки лучше, чем встречаться лично. Тем более с Зинкой.

Он сегодня и так уже совершил из-за нее трудовой подвиг: дважды позвонил в Рязань начальству, несколько раз продиктовал Петькины приметы коллегам из соседних областей и даже пообщался с настоящей телевизионной журналисткой Альбиной, которая пообещала послать сюжет про Петьку на центральный канал.

Оставалось еще одно, самое важное: доложить Зинке, чтобы она хоть на время оста-

вила его в покое. Зинку Ефим боялся даже больше, чем начальства.

«Паутину опять забыл», — спохватился Карась, набирая номер сапожковской школы.

Заворочалась, зашебаршилась в трубке телефонная мышь. И далеко-далеко на краю уха раздались длинные гудки. Ефим сосчитал до десяти и, порадовавшись, что не надо ни с кем говорить, повесил трубку.

В это время Миска расхаживала по Зинкиной избе. Зинка сидела на высокой кровати, всхлипывала и украдкой косилась на Мискину тень. Когда Миска доходила до угла, нос тени надламывался, и его кончик перебегал на соседнюю стену. Сама Миска останавливалась, выкидывала руку вперед и восклицала:

— Кто виноват?! Ты! Ты хоть знаешь, чем он интересуется? Чего от жизни хочет?

— Жрать он хочет! — отвечала Зинка, громко сморкаясь, чтобы скрыть совершенно неуместный смешок. — Шлëndать и балбесничать!

— Эх, ты, мамаша, — презрительно вздыхала Миска, и ее длинноногая тень скользила вспять по выцветшим обоям.

Витька с Петькой пробрались в пустое купе и затаились в отсеке, где хранились матрасы и

одеяла. На этих вагонных антресолях, находившихся прямо над дверью, было довольно просторно, а главное — безопасно: если заглянуть в купе, никого не видно.

Братья угнездились в одеялах и задремали. Поезд мягко мчался вперед, покачиваясь, как колыбель, и убаюкивая усталых пассажиров монотонной погремушкой колес.

Петька изо всех сил старался не спать. Он собирался подумать о чем-то важном. Но мысли, будто пугливые тропические бабочки, разлетались в разные стороны, едва он приближался. Петька даже не мог вспомнить, в чем он хотел разобраться.

И вот уже мерно колебалась под ним широкая спина Махаона, шуршал, стекая с гребня дюны, золотой песок, и плавно взмахивали крыльями неуловимые бабочки-мысли. Вдалеке отбивал ритмы невидимый там-там.

— Там! — задыхался Витька, трясая Петьку. — Там!

Жинжиков резко сел и треснулся о низкий потолок отсека.

— Что? Где?

— Там! — повторил Витька, и стало слышно, как у него стучат зубы.

— Проводники? Пограничники? Милиция?

— Инопланетянин, — пискнул Витька и задрожал.

— Большой? — деловито поинтересовался Петька.

Витька замотал головой.

— Маленький? Так чего трясешься?

— Вдруг он током шибанет? Или того — в тарелку свою утащит?

— А где ты его взял?

— Я не брал! Я в тубзик пошел, а он в соседнем купе сидит, таращится, как филин...

Недолго думая, Петька свесил ноги вниз и, повиснув на руках, спрыгнул на пол.

— Стой! Не ходи! — отчаянно зашептал ему вслед Витька, но Жинжиков уже выскочил в коридор.

Дверь в соседнее купе была приоткрыта. Петька осторожно заглянул внутрь и отшатнулся: прямо на него смотрел сидевший на нижней полке инопланетянин. У него была большая, абсолютно голая голова, оттопыренные уши и огромные глазища. Носа и рта у пришельца не было, вместо них белел квадратный лоскуток, похожий на марлевую повязку.

— Саша, — произнес измученный женский голос. — Ты чего вскочил? Болит? Укол сделать?

Дверь в купе закрылась, и Петька услышал, как внутри кто-то застонал, а потом тихонечко заплакал.

— Кажется, ему здесь несладко, — задумчиво сказал Жинжиков, залезая обратно в отсек.

— А может, притворяется? — подозрительно спросил Витька.

Жинжиков не ответил. По гладким кожаным полкам, столику и стенам плыли, обгоняя друг друга, желтые пятна фонарей. Витька закрыл глаза и мгновенно поплыл следом.

Под утро поезд остановился у пограничной станции, и в вагон поднялись суровые таможенники в зеленых куртках. Они заглянули в купе, где прятались братья, бегло осветили фонариком пустые полки и пошли дальше. Витька с Петькой спали без задних ног.

Проснувшись, Витька услышал голоса. Один из них принадлежал Жинжикову, второй был незнакомый. Витька осторожно выглянул из-за матраса и остолбенел: завернувшись в одеяло, в их купе сидел вчерашний инопланетянин и преспокойно беседовал с Петькой. На лысом черепе прищельца матово синели тонкие прожилки. Худые ноги в розовой пижаме лежали на кожаном сиденье, как отдельный предмет.

— Едем в Варшаву на операцию, — голо-сок у инопланетянина был слабенький и казался детским и одновременно почти старческим. — Страшно дорогая. Квартиру продали. Мама надеется, что поможет.

— А ты? — спрашивал Петька, совершенно не церемонясь, будто говорил не с пришельцем, а с обычным мальчишкой.

— Я — нет.

— Почему?

— Я жить устал.

— Как это?

— Ты в больнице лежал?

— Нет.

— А болел?

— Ну, — протянул Петька, вспоминая. — Когда совсем мелкий был. Ветрянкой. Мамка меня всего зеленкой измазала, а сама угорает. Она тогда еще веселая была. А я за ней по избе на четвереньках бегаю — гепарда изображаю.

— Неужели понравилось болеть? — изумился инопланетянин.

— Не то чтобы очень, — согласился Петька. — На улицу не пускают. Сидишь, как жучка, взаперти, на стены смотришь.

— Вот-вот! — обрадовался пришелец. — А представь, всю жизнь так. Да еще в больнице! И болит так, что себя не помнишь... Вет-

рянка — это вообще не болезнь. Тебе когда-нибудь было по-настоящему больно?

— Когда руку сломал! Я с яблони сверзился. Вроде не очень высоко, а кисть подвернулась — и ага. Я прям взвыл! Так и выл всю дорогу, пока в Мымрино гипс не наложили...

— А представь, что каждый сантиметр тела болит так же. И не час, не два. А годы и годы! И ничего другого в жизни просто нет.

Петька присвистнул:

— Неужели у тебя так?

Пришелец печально кивнул.

— А что же ты не воешь?

— Не могу же я всегда выть.

Витька тихонько выбрался из-за матрасов и присел за спиной Жинжикова.

— Я тебя тоже видел ночью, — обернулся инопланетянин. — Меня Сашей зовут. А тебя?

— Это Витька, — засмеялся Жинжиков. — Он тебя вчера за пришельца принял! Перетрухал — знатно!

— Я тоже себя в зеркале пугаюсь, — серьезно ответил Саша. — Особенно в темноте.

Братья неловко замолчали. Жинжиков принялся ковырять дырку на локте, а Витька устался на свой грязный ботинок.

— Я только из-за мамы живу, — сказал Саша, напряженно вглядываясь в их опущен-

ные лица. — Если бы не она, давно бы умер. Она меня любит, конечно. Но ей ведь тоже тяжело. Вот я иногда и думаю: «Зачем мне ее мучить и самому мучиться? Не лучше ли...»

— Да ты что! — вскинулся Петька и растерянно посмотрел в огромные Сашины глаза.

— Я не о том. Просто человек живет, пока надеется. А у меня уже и на это сил нет. Ради нее заставляю себя хоть капельку. И не могу.

— Но ведь умирать — страшно, — Петька с трудом выговорил слово, которое из суеверных соображений никогда не произносил вслух.

— Умирать, — легко и привычно повторил Саша. — Не страшнее, чем жить так... Помнишь: «Уж не жду от жизни ничего я. Я б хотел забыться и заснуть...»

— Сам сочинил? — восхищенно подпрыгнул Петька.

— Ты что, Лермонтова не знаешь? — удивился Саша.

— Он же двоечник, — неожиданно проклянулся Витька. — И прогульщик!

— Пушкин тоже был двоечник, — обернулся к нему Саша. — А по математике у него вообще был ноль.

Витьке стало досадно.

— Вот послушай, мне очень нравится, — Сашка уже опять смотрел исключительно на

Жинжикова. — «Выхожу один я на дорогу...»

— Саша! — отчаянно закричала, врываясь в купе, женщина с утомленным бесцветным лицом. — Я тебя везде ищу! Весь поезд на уши поставила! Что ты со мной делаешь! Саша! Тебе же нельзя утомляться!

— А вы, огольцы, откуда? — высунулась у нее из-за плеча дебелая проводница.

— Из пятого вагона! — выпалил Жинжиков и, схватив Витьку, вжикнул в коридор.

— Откуда-откуда?

— От жирного верблюда! — задорно откликнулся Петька, удирая в прокуренный тамбур.

— Вот разбойник! — ахнула проводница. — А еще в заграницу едет!

Не успев как следует разбежаться, братья очутились там, куда вчера вечером забрались с помощью маленькой Люськи: в последнем тамбуре последнего вагона.

— Эх, я и дурак! — Петька звонко хлопнул себя ладонью по лбу. — Надо было вперед!

— Зачем? — не понял Витька, с «дураком», однако, полностью согласившись.

— В ту сторону вагонов больше: легче за-теряться, — скороговоркой протараторил Жинжиков и прилип носом к стеклу.

Витька еще переваривал его предыдущую фразу, а Петька уже вопил, пританцовывая от восторга:

— Смотри! Смотри! Склеп!

— Какой склеп?!

— Вон на доме! Ненашенскими буквами написано! Витька! Да тут все слова нерусские! Заграница! Ура! Мы почти в Африке!

И Петька без задних ног провалился в чужую страну, катившуюся за окном. Он старался увидеть сразу всё, прочесть каждую вывеску, облазить взглядом каждый дворик, заглянуть в каждое окошко. У него будто выросло штук десять новых глаз, с жадным изумлением взиравших на мир.

Петька немало удивился, обнаружив в пейзаже своих старых знакомых. Березовые рощицы привычно взбегали на невысокие пригорки. Яблони точно так же, как в Сапожке, склоняли через забор тяжелые урожайные ветви. И даже воробьи, прыгавшие по платформе, ничем не отличались от тех, за которыми он наблюдал из окна родимой школы, получая от Миски двойки, окрики и замечания в дневник.

Новая страна, открывавшаяся перед ним, была похожа на Россию, как Витькина мама — на его собственную. Тот же нос, те же

губы, такие же зеленые глаза, но — чужая и поэтому некрасивая, хоть причесанная, гладкая и хорошо одетая...

— Вот они, гаврики! — вдруг раздалось у них над головами. — В хвосте сховались!

Проводница из Сашиного вагона, радостно потирая руки, высилась за спиной. В тамбуре моментально стало тесно. Другие проводницы и два милиционера — рыжий и усатый — загалдели все разом, перебивая и перекрикивая друг друга. Петька вжался спиной в дверь, незаметно вытащил Люськины отмычки и стал лихорадочно нашаривать скважину.

— Я же говорю у меня в пятом никого с детьми нет!

— Я этих паршивцев сразу вычислила! Больно уж прыткие да чумазы! У меня на зайцев глаз наметанный!

— Как только их граница прошлапила!

— Ох, и досталось бы нам, девоньки, если бы их сцапали!

Тут на передний план выдвинулся рыжий милиционер, у которого даже веки и мочки оттопыренных ушей были густо усыпаны мелкими веснушками.

— Ну-ка, нарушители, выворачиваем карманы!

В эту секунду дверь поддалась, и Петька, не раздумывая, ловко кувыркнулся с поезда, будто всю жизнь только этим и занимался.

Ему показалось, он летит слишком долго. По его ощущению, он должен был давно упасть. Но этого не происходило. Будто земля отодвинулась или вообще потерялась. И всё же толком испугаться он не успел. Мощный удар выбил из легких весь воздух. Петька задохнулся, в глазах у него потемнело.

В тамбуре все застыли с раскрытыми ртами. Первым сориентировался усатый. Он шагнул к Витьке и положил ему на плечо неприятно тяжелую ладонь.

— Витька-а-а-а! — донеслось сквозь грохот колес. — Прыга-а-ай!

Голос слабел, улетал назад, терялся. Толстая проводница гневно захлопнула дверь и обернулась к Витьке пышущим, как самовар, лицом:

— Ну-с, и откуда у нас служебные ключи?!

Поезд, вильнув хвостом, скрылся за поворотом. Петька, кряхтя, поднялся и побежал в глубь незнакомой страны, продираясь сквозь низкорослый колючий кустарник. Всё тело его ныло и гудело как колокол, в который только что без ума трезвонили. Но выть не хотелось. Петька понял, что ничего не сломал, и обрадовался.

Выбравшись из кустов, он очутился на кукурузном поле, за которым виднелось автомобильное шоссе. На ходу Петька открутил от стебля усатый початок и впился в него зубами. Есть хотелось ужасно.

Грызя кукурузу, Петька раздумывал, как вызволить брата. Можно было добраться до ближайшей станции и проверить, не посадили ли Витьку в вокзальную кутузку. Хотя что-то подсказывало Петьке, что Витьку просто-напросто отправят домой на том же поезде, чему тот будет несказанно рад. Поэтому и тревожиться о нем особо нечего.

Без брата Петьке было непривычно, как если бы он потерял рюкзак, который так долго тащил, что уже сроднился. И даже немного грустно. Но главное — свободно и легко: не надо больше никого тянуть, толкать и волочить за собою.

Петька вскарабкался на обочину, вздохнул во всю грудь и от души запел:

«Выхожу один я на дорогу!»

Дальше слов он не знал, но это его ни капельки не смутило.

— Эх, один до Африки дойду! — горланил он, пиная перед собой обглоданный початок. — На край света я один доеду! И оттуда в космос полечу!

На закате Жинжиков добрал до заправки, вокруг которой стояли длинные грузовые фуры, украшенные яркими иностранными надписями. Из двери аккуратного деревянного домика, на которой было вырезано понятное слово «BAR», раздавались грубые мужские голоса, стук посуды и женский смех.

Петька покрутился среди высоких — с него ростом — пыльных шин. Сунулся туда, сюда, и наконец, присмотрел небольшой грузовичок, казавшийся игрушечным на фоне остальных огромных машин. Открытый кузов его был наполовину заставлен дощатыми ящиками, из которых торчали веселые стружки и оглушительно пахло огурцом.

Едва Петька забрался в кузов, из бара вышел похожий на тугую лоснящуюся сардельку толстяк. Крякнув, он вытер руки о клетчатую рубашу и направился напрямиком к Жинжикову.

Петька скукожился посреди ящиков. Машина присела и покачнулась: это водитель взгромоздился в кабину. Затарахтел мотор, и грузовичок ринулся со стоянки, тут же набрав максимальную скорость.

Петька объелся огурцами, откопал в кузове промасленную спецовку, свернул ее себе под голову и улегся. От усталости он долго не мог

заснуть и смотрел в темнеющее небо, на котором уже проступали первые, почему-то всегда печальные звезды.

«И до вас доберусь, — обещал им Петька. — Объеду Землю — и тут же к вам, не скачайте!»

Ему представилось, как он, сидя за рулем серебристой ракеты, оборачивается в последний раз и видит светящийся земной шар, уходящий всё дальше и дальше в черный космос. У Петьки перехватило горло.

«Я вернусь! Вернусь! — закричал он. — Долечу до края Вселенной — и обратно!»

«А где он, этот край? — тут же забеспокоился Петька. — А что за краем? Другая Вселенная? А за ней? А дальше? А после?»

От этих вопросов у него внутри поднялся ледяной сквозняк, тоскливо засосало под ложечкой, и по коже побежали колючие мурашки. Захотелось спрятаться от звездного неба. Он натянул на голову спецовку, но мысли пробрались и под нее.

«Пока я летаю, мамка состарится, — думал Петька, всё беспокойнее оборачиваясь на Землю из своей слегка сбавившей ход ракеты. — А вдруг — умрет?!»

Ему стало так страшно, что он вскочил. Грузовик накренился на повороте, и Петька

чуть не вывалился за борт. Он вцепился в ящик с огурцами и осторожно присел.

«А ведь и я когда-нибудь...» — он не смог даже мысленно выговорить это жуткое слово о себе самом.

«Нет! Не может быть! Я! Вот я! И вдруг меня не будет? Как это? Разве это возможно?»

Звездное небо пристально смотрело Петьке в глаза. И молчало. Мимо прошумел, подмигнув фарами, встречный грузовик.

«А ведь я не успею до края Вселенной. Даже до самого ближнего, — понял Петька. — Да и какая разница, если потом — всё равно...» — то слово опять застряло и не произнеслось, но от этого не стало менее страшным.

«Эх, зачем тогда все эти звезды?! — окончательно затосковал Петька. — Зачем Африка? Зачем ехать? — он достал огурец и откусил, чтобы отвлечься; огурец оказался горьким. — Зачем огурец? Растет, старается, чтобы его ели и жили. А мы поедим-поедим, да и помрем. Зря, брат, старался...» — тут Петьке стало так жалко и огурец, и себя, и все живое на свете, что он не выдержал и разревелся.

«Вот бы мне не умирать! — изо всех сил просил он сквозь слезы неведомо у кого. — И мамке тоже! И папке, даже если я ему не

нужен! И Витьке, хоть он и зануда! И Люське, Люське — пожалуйста! И Борьке с Негодой! И Сашке, пусть он и врет, что не боится. И лысому стрелочнику! И этому, в клеточку, который меня везет! И бабе Пане, и Воеводе, и Миске. И никому-никому. Никому-никому. Пожалуйста...».

Петька незаметно уснул, продолжая уже во сне перечислять тех, кто ни в коем случае не должен умереть...

Грузовик въехал в крошечный городишко и притормозил перед домиком с кованым забором. В зарослях плюща зажглось оранжевое окно, и на крыльце вырос заспанный верзила в точно такой же, как у водителя, клетчатой рубашке. Он зевнул, будто хотел разом проглотить и грузовик, и шофера, и весь городишко, булькнул что-то из глубины своего исполинского зевка и вразвалочку пошел к машине.

Обнаружив спящего в огурцах Петьку, детина озадаченно поскреб затылок и басовитым шепотом кликнул водителя. Они недолго посоветовались, размахивая в темноте руками. Младший клетчатый махал на восток, старший — в обратном направлении.

Наконец, водитель запрыгнул в кабину, тихонько завелся и покати́л на западную окраи-

ну ночного города. У высокого здания с табличкой «BURSA», он остановился. На звонок вышла женщина в белом халате. Коротко переговорив с ней, водитель осторожно вынул из кузова спящего Петьку и на руках внес внутрь.

Следующую неделю Петька Жинжиков провел в интернате польского городка, чье название даже не удосужился узнать. Раньше он в первый же день облазил бы все закоулки своего пристанища, перезнакомился с его обитателями, выяснил, не смущаясь разницей языков, кучу нужных и ненужных подробностей, а там, глядишь, и улизнул бы из-под опеки навстречу новым дорогам и городам.

Но после ночи в огуречном грузовике Жинжиков проснулся настолько другим человеком, что и сам перестал узнавать себя. Целыми днями он просиживал у окна в сад, хмуро молчал и механически выполнял все, что от него требовали: ел, мылся, переодевался, и даже безропотно давался врачам, которые стучали серебряным молоточком по его коленкам и пристальным фонариком светили в глаза.

Петька вдруг ужасно от всего устал. Он не то чтобы заново переживал опустошающие мысли той ночи, но постоянно ощущал их не-

веселый груз, от которого сутулился и шаркал ногами. Ему стало неинтересно, что будет дальше. Не хотелось ничего — так бы всю жизнь и сидел у окна, считая летящие мимо листья.

Специально ради Петьки в интернат приезжала русская девушка Лена, учившаяся в Варшаве. Картавя и нежно посмеиваясь, Лена расспрашивала Петьку, кто он и откуда, и попольски записывала его односложные ответы в блокнот. Но и звучание родной речи, от которой Петька уже незаметно отвык, не вывело его из столбняка.

В один из этих унылых дней в комнату, где пропадал Петька, вошел тощий тип в рваных джинсах и пыльных кедах.

— Жинжиков? — недоверчиво окликнул он Петьку.

— Ну, — равнодушно согласился тот, не поворачивая головы.

— Ну и ну, — удивился гость. — Ну, ладно. Собирайся, домой поедем.

Петька встал, подтянул штаны и сказал, стеклянно глядя в пол:

— Собрался.

Гость присвистнул, взял Петьку за подбородок и повернул к себе. Блуждающий Петькин взгляд столкнулся с внимательным взглядом

незнакомца. Неожиданное волнение толкнулось Петьке в живот, подскочило к горлу и словно вышибло пробку, закупорившую сердце. Из глаз его хлынули слезы, и он — засмеялся.

— Э, брат, — растерянно протянул тощий и неловко погладил Петьку по голове.

— У тебя портки как решето, — хохотал Жинжиков, обливаясь слезами. — Меня бы в таких мамка за порог не пустила!

— Ну, нормально, — выдохнул гость и легонько подтолкнул Петьку к дверям. — Давай, а то на самолет опоздаем.

— Самолет! — восхитился Жинжиков. — Вещь! Никогда не летал! А ты?

— Миллион раз.

— И в Африку?

— Конечно.

— Расскажи! — захлебнулся Петька. — Тебя как звать-то?

— Жинжиков.

— Че ты врешь! Жинжиков — это я!

— Думал, ты один такой, что ли? — смущенно усмехнулся гость. — Ну, поехали. По пути обсудим.

Но всю дорогу до аэропорта Петька молчал, напряженно что-то соображая. Новоявленный Жинжиков тоже помалкивал. Когда из

окна автобуса уже стала видна взлетная полоса с блестящими самолетами, старший Жинжиков весело произнес:

— Знаешь, откуда я про тебя узнал?

— Ну?

— Из телевизора! По Первому каналу рассказывали. Будто ты в кругосветку сбежал. Я сначала просто порадовался: молодец, думаю, пятиклассник — наш человек! А потом вдруг деревню опознал — мы там студентами на раскопках были. И тут в довершение всего — появляется Зинка и мою фамилию на всю страну произносит! Я аж со стула упал, веришь?

— Че ж не верить? Я сам много раз падал, — солидно ответил Петька. — Когда качался.

— Я мигом собрался и махнул в ваш Сапожок, — отсмеявшись, продолжил Жинжиков. — И не успела меня Зинка с потрохами съесть, как привозят твоего Витьку. Тут она на него переключилась...

— Пилила? — сочувственно перебил Петька. — На это она — мастер!

— Имеет полное право, — развел руками Жинжиков. — Только что ж она мне раньше-то про тебя не сказала?!.. Хотя где бы она меня нашла. Нынче здесь, завтра — там. Болтаюсь по белу свету...

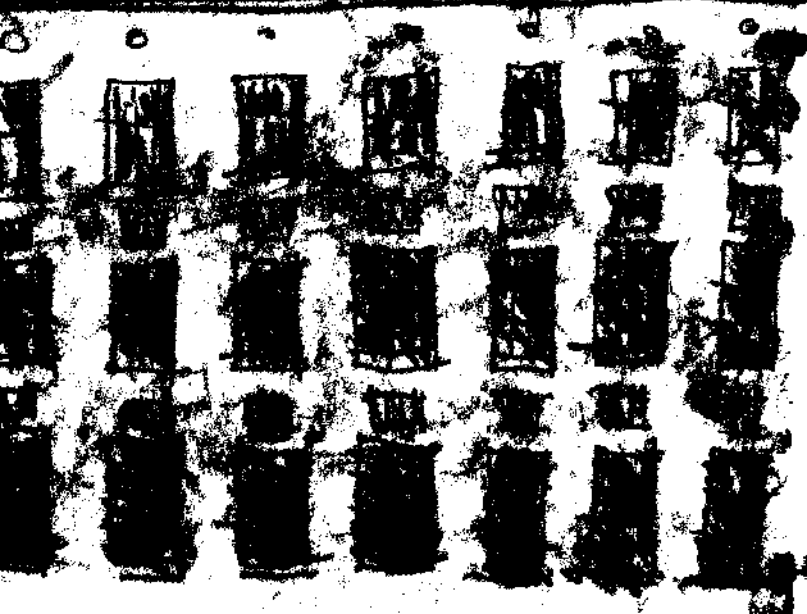
— Везет! — выдохнул Петька.

— Теперь вместе будем — не вопрос! — Жинжиков хлопнул себя по рваной коленке. — А еще через неделю приходит депеша — чтоб тебя из Польши забрать. Спихватились, а загранпаспорт только у меня. Ну, я и поехал...

— Слушай, — загорелся Петька, шалея от близкого рева турбин. — А может, махнем напрямиком в Африку?

— В Африку? Дело хорошее. Только к ней подготовка нужна. Во-первых, прививки. Во-вторых... В-третьих...

Осеннее солнце медленно вползало на взлетную полосу. Трепыхались наполненные ветром длинные полосатые колпаки на высоких шестах. Одинаково щурясь, оба Жинжикова смотрели в небо — туда, где набирал высоту важный белоснежный лайнер, летящий, конечно, напрямиком в Африку. А куда же еще?



РАССКАЗЫ



КОГДА НАМ БЫЛО ПО ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ

Мы говорили только о смысле жизни. Просто болтать считалось стыдным. Надо было именно разговаривать. Всегда по-настоящему, предельно, с отдачей всего себя. Поэтому и можно было стать настоящими друзьями за один вечер, за один такой разговор. Сейчас все эти молниеносные дружбы кажутся смешными и невозможными, но лишь потому, что мы разучились ТАК разговаривать друг с другом.

В пятнадцать лет поиск смысла стоял перед нами не как философская проблема, а как вопрос жизни и смерти, буквально, без всяких преувеличений — все эти разговоры велись с изрезанными в кровь руками, с опасными таблетками, украденными из школьной аптечки. Все эти разговоры были реальны — как смерть. И — в перспективе смерти — беспощадно честны.

Наша острая детская категоричность, неудобная всем, особенно нам самим, затупилась со временем, как нож. Стесывание острых углов принято называть взрослением и даже мудростью.

Но, утратив категоричность, мы измельчали, всплыли на поверхность жизни. Нам, конечно, полегчало. Но и мы — полегчали. «Ты взвешен на весах и найден слишком легким».

Мы незаметно, безболезненно стали частью того, что было невозможно принять, будучи категоричным подростком с незаживающими шрамами на запястьях («если это — жизнь, лучше — смерть»).

Категоричность — осуждающее слово. Лукавое, взрослое слово, бумажная ширма. Если его убрать, то выйдет совсем другое: честность. В пятнадцать лет мы были беспощадно, безоглядно и беззащитно честны.

Честность всегда кажется категоричной, суровой. Она требует всех сил, всего человека. Нельзя быть наполовину честным, по воскресеньям честным, нельзя даже чуть-чуть соврать: либо все, либо ничего — категоричность заложена в самой ее природе. Честность не дает поблажек, от нее нельзя отдохнуть, развеяться, уйти в отпуск. И большинство устает.

«Устает» — говорю я сейчас, в пятнадцать лет мы выразились бы жестче: «ломается, предает себя». И это тоже приобретение зрелости: милость к падшим, взамен юношеского толкания падающих.

Взрослых, терзающих себя поиском смысла, совсем немного. В результате это нормальное человеческое состояние принято считать болезнью роста, то есть — делом прошлым, неважным.

Такие взрослые очень одиноки. Более одиноки, чем подростки, у которых все-таки есть сверстники-собеседники для разговоров «о главном», как мы это называли в пятнадцать лет.

Мне кажется, естественный путь таких взрослых — к детям. Не для того, конечно, чтобы скрасить свое одиночество — этот вид одиночества неизлечим, да и не требует облегчения. И тем более не для объяснения смысла — чужой опыт еще никому не пошел впрок. Но эти люди — не заснувшие, продолжающие спрашивать и искать, допытываться и сомневаться — одним своим существованием способны убедить подростка, что будущее — возможно.

Пятнадцать лет — возраст непрерывного отчаяния, когда кажется, что будущего — нет. Потому что будущее, которое предлагает взрослый мир («работа-деньги-карьера»), не-

приемлемо. Появление взрослого, живущего по иным законам, — это весть о возможности другого будущего. Весть, которая для многих может оказаться спасительной. Опять же, в абсолютно буквальном, физическом значении этого слова.

Такой взрослый может заронить в головы подростков одну важную мысль. Мысль, которую они по своей нетерпеливости, конечно же, не примут: в пятнадцать лет истина нужна здесь и сейчас, а не когда-то после.

И все-таки ужасно нужно, чтобы кто-нибудь сказал: вы не найдете ответов сегодня, и даже в этом году (для подростка, живущего в медленном детском времени, год равносителен вечности), и впереди еще много-много таких безответных лет (о, ужас!).

Но это не значит, что не надо искать! Пусть поиск кажется безнадежным. По-настоящему безнадежным все станет, только если перестать искать, остановиться. Предать себя.

Потому что это, правда, предательство. Но такие сильные слова — вы когда-нибудь тоже поймете — применимы только к себе. О других лучше сказать: устали. И это, кстати, не мелочь, а часть того самого смысла.

Они, конечно, будут яростно спорить. Но семя надежды все-таки в них упадет. И это

может изменить их судьбу, едва заметно сдвинуть их дальнейшую траекторию. От разрушения — к созиданию, от себя — к другим, от ложного взросления (огрубения и отупения) — к истинному росту.

Как важно подростку хоть раз в жизни поговорить «о главном» не только со сверстниками, находящимися в той же точке, а с человеком, который через это уже прошел. Точнее не прошел — тот, кто идет, в пути до самой смерти — но и не остановился, не убежал на полпути, не сдался.

Беда, что не часто встречается детям такой взрослый. Нам вот в пятнадцать лет — не встретился. И именно беда — здесь более мягких слов не нужно.

Да и сами мы. Те, кто выжил (буквально, буквально), те, кто вырос. Кем мы стали? И разве теперь вопрос о смысле жизни вызывает у нас что-нибудь, кроме снисходительной усмешки? Не потому, что найден ответ. Не ответ мы узнали, а множество способов уйти от вопроса — вот и вся наша взрослая мудрость!

Недаром в пятнадцать лет мы так презирали взрослых. Это была естественная реакция. Это было еще не затертое жизнью знание о подлинном масштабе человека. Мы знали, что наше призвание, наш смысл, то, ради чего мы

пришли на свет, вовсе не «работа-деньги-карьера». И сопротивлялись этой огромной вездесущей лжи — как могли. Яростно, не жалея живота своего. И вообще — никого не жалея.

А теперь? Мы успокоились? Повзрослели? Поиски смысла сделались нам смешны? Или нам просто не до них, ведь — сами знаете — «работа-деньги-карьера»...

Но скоро круг замкнется. И уже наши дети встанут голой душой на лезвие тех же самых страшных вопросов. Сумеет ли мы им хоть чем-то помочь? Те, какими мы стали, — вряд ли.

Чтобы помочь, надо вспомнить — хоть это до сих пор тяжело и больно — что было с нами в наши пятнадцать лет.

ДЕТСТВО В ФОТОГРАФИЯХ

Довольно долго наши альбомы начинались с фотографий, сделанных в 15—16 лет, словно те существа, которыми мы изо всех сил старались казаться, появились на свет сразу же в этом возрасте. Ведь именно с него мы вели летопись нашей самостоятельности и свободы. Вот первый Новый год, встреченный вне дома, первая поездка в другой город (в основном, почему-то, Питер), разумеется, первая любовь (серия старательных поцелуев в разных интерьерах). Что было до этого? Ничего. Здесь — начало, здесь и только здесь точка отсчета наших биографий.

Юность не любит вспоминать о детстве. Не потому, что ей «некогда оглядываться назад», а потому, что не хочется иметь ничего общего с теми бесправными и беспомощными созданиями, какими мы были еще так недавно. Теперь-то мы другие — наконец взрослые! — и вот мы яростно отчеркиваем от себя прошлое, запирая в самый дальний ящик сброшенную кожу детских фотографий. Туда же отправляются и снимки, где рядом с нами в кадр случайно попали родители — отныне у нас своя, отдельная от них жизнь!

Но юность проносится, как курьерский поезд (с грохотом и в искрах), и к нам, огушен-

ным и ослепленным, понемногу начинает возвращаться память. И вдруг оказывается, что изгнанное на антресоли детство и было самым важным временем, а вовсе не взрослая жизнь, в которую мы так спешили запрыгнуть. Мы достаем ворох выцветших снимков и, чихая от пыли, пристально всматриваемся в самих себя. Бережно расправляем выгнувшиеся фотографии, и внутри нас тоже что-то выпрямляется, обретает изначальную форму, встает на свои места.

Приезжая к родителям, мы целыми днями просиживаем над старыми альбомами. Мы вспоминаем себя: пробираемся в глубь забытого континента с помощью маленького проводника, что смотрит на нас исподлобья с толстых картонных страниц. И открываем странную вещь: уже тогда мы были собой. Не умея читать-говорить-ходить — все равно были. И даже ближе к себе, чем сейчас, когда на насросло столько лишнего и чужого. И нам вдруг становится яснее ясного, что путь к себе лежит через детство.

Улыбаясь растерянно и радостно (будто встретив старого друга), мы увозим с собой пачку черно-белых снимков. Теперь их мы будем показывать близким людям, через них — рассказывать о своем самом сокровенном, ими

приглашать к взаимной откровенности и доверию. И у тех, кто нам важен, мы теперь всегда будем просить детские фотографии. Чтобы поставить их рядом со своими: как будто познакомить двух детей, вернее — познакомиться через детство.

Примерно в это же время восстанавливаются прерванные юношеским самостоянием отношения с родителями. И мы заново узнаем их, впервые — отдельно от нас, в их таинственной, до нашего рождения бывшей жизни. Но незаметно для себя сводим все разговоры — к детству. И вот из древних чемоданов, перевязанных бечевкой, извлекаются пожелтевшие карточки с резными краями. Глазастый мальчишка в довоенном картузе набекрень. Девчонка с белой челкой в послевоенном детском саду. Эти фотографии нам, конечно, не отдадут. Мы переснимаем их своей камерой, чтоб всегда были с нами.

К нам возвращается детство. Даже три детства: родительское — в рассказах, наше собственное — в воспоминаниях, и детство наших детей, происходящее у нас на глазах. И вот уже трехлетняя дочка друзей, показывая нам свой альбомчик, сердито пролистывает первую половину: «Не смотри — тут я была маленькая!»

ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ

Дорога

Дачная жизнь начинается с долгой дороги в полях. Идем гуськом по нагретой солнцем узкой тропинке. Взрослые заняты разговорами о рассаде и совсем обо мне забыли. Отстаю немного. Несколько шагов вбок — сорвать василек — и меня уже не видно. Колосья качаются над головой, будто маленький детский лес. Они кажутся мягкими, как беличьи кисточки, но на ощупь оказываются твердыми и сердито колот ладони своими жесткими усами. На тропинке меня хватились, аукают. Вот побежали обратно, совсем рядом, и не заметили.

«То-то же! Будут знать!» — хмуро радуюсь я, разгрызая продолговатое зеленое зерно.

Взглянешь на небо — и слезы текут, такое яркое. Прямо надо мной парит большая птица. Один круг, второй — не улетает. Пронзительно кричит. На солнце набежало облако, и теперь можно безболезненно смотреть вверх. Замечаю загнутый клюв и пугаюсь: это же кондор! Тот самый, который унес мальчика в «Детях капитана Гранта»! Выскакиваю на тропинку: «Я тут!» Взрослые уже далеко, кричу изо всех сил. Становится страшно: вдруг уй-

дут совсем, оставят меня одну с кондором?! Ветер срывает с головы панамку. Колосья шумят грозно, как джунгли.

Оставшуюся часть пути меня несут на плечах. Солнце быстро высушило слезы. Расставляю руки, как кондор, и смотрю на волны ржи, плещущей где-то там, внизу. В небе висят звонкие жаворонки. Больше не страшно.

Чердак

На даче есть специальное детское место: чердак. Взрослым здесь не повернуться, только если присесть на корточки. Хожу по своим владениям, глажу косую деревянную балку, вкусно пахнущую смолой. Прошлым летом надо было вставать на дыпочки, чтобы до нее дотянуться, а теперь она совсем близко. Вдруг понимаю, что скоро-скоро, может, уже через год, мне тоже придется нагибаться, чтобы здесь пройти, и заглянуть в круглое окошко-иллюминатор я смогу, только встав на колени.

На чердаке меня укладывают спать. Не на кровати, а на старом матрасе! И укрывают не одеялом, а потертым овечьим тулупом! Как тут уснешь! Только сосед дядя Игорь знает секрет. Он усаживается рядом и таинственным шепотом спрашивает:

«А ты знаешь, что здесь, на чердаке, живут волшебные бабочки?»

«Где? Где?» — кричу я, пытаясь выбраться из-под тяжелого тулупа.

«Тссс! Они прячутся от людей и появляются, только когда ты закрываешь глаза...»

«Появились?» — спрашиваю, послушно зажмурившись.

«Да!»

«А какие они?»

Дядю Игоря волшебные бабочки не боятся — он художник. Вот они вылетают из своих укрытий и начинают танцевать в солнечном луче. Дядя Игорь подробно описывает каждую, а я лежу с закрытыми глазами и незаметно улываю в сказочный сон, наполненный невидимыми бабочками.

Ягоды

Крутые берега Сухой Речки усыпаны земляникой. Правда, на нашей стороне дачники обирают ее подчистую. Поэтому мы ездим в лодке на тот берег. Карабкаюсь на высокий склон, цепляясь за траву, пачкая землей колени. Ягоды вспыхивают то там, то здесь. И скоро уже ничего не замечаешь вокруг, кроме этих алых маячков...

Наберешь горсть, сядешь отдышаться — и нюхаешь, нюхаешь слипшиеся в ладони горячие ягоды, пока не закружится голова и не поплывут перед глазами небо, речка, тот берег, где пасутся крошечные коровы, и кто-то, кажется мама, машет нам белой косынкой.

В огороде ягоды не так волнуют. Здесь они ручные и привычные, растут на своих местах. Сбирать их интересно только в первый день: спешишь наестся *немытого*, пока никто не видит. А вот на кустах у соседей те же самые ягоды почему-то всегда заманчивее и вкуснее.

Единственное, что неизменно восхищает, это красная смородина. Длинные грозди, просвечивающие на солнце, кажутся дивными украшениями, подвесками дачной королевы, повелительницы волшебных бабочек с чердака.

Взрослые быстро и равнодушно кидают эти драгоценности в корзину. Спасая несколько смородиновых подвесок, прицепляю к волосам и торжественно иду смотреть в бочку с дождевой водой. Теперь и я — королева!

Рябиновые бусы, которые мы нанизываем на нити в конце августа, это, конечно, совсем не то: непрозрачные и быстро скукоживаются.

Бочка

Это даже не бочка, а большой, покосившийся на одну сторону ржавый бак. Около него можно простаивать часами. По поверхности воды скользят, растопырив тонкие ножки, изящные водомерки. От них разбегаются во все стороны легкие круги, и едва заметно покачивается в углу бака отраженное солнце.

В темной глубине важно плавают большие подводные жуки, и снуют мелкие красные букашки. Иногда они причаливают к стенкам и устраиваются отдыхать в пластах отслаивающейся ржавчины.

Глупый лягушонок, запрыгнув в бочку, устраивает там настоящую бурю. Барахтается, брыкается, поднимает со дна весь накопившийся за лето мусор. Потом останавливается перевести дух. Передними лапками уперся в бортик, а задние жалобно болтаются в мутной воде. Протягиваю руку. Дергается в сторону, но дает себя взять. Бесконечную секунду смотрим друг другу в глаза, близко-близко. Потом лягушонок спохватывается и, кувыркнувшись, соскакивает с ладони.

Дача кончается всегда внезапно. Ведь мы неизменно теряем счет дням и напрочь забы-

ваем, что бывает осень. Но вдруг начинается долгий обложной дождь, загоняющий всех в дом. И вот мы сидим в полутьме и слушаем, как стучат по крыше тяжелые капли и хлещут по стеклам встревоженные кусты.

«Пора в город, — произносит кто-то, вздохнув. — Пора в город...»

ДЕТСКИЙ МИР РАСТЕНИЙ

Шиповник

В кустах шиповника хорошо скрываться, когда играешь в прятки. Можно, конечно, поцарапаться колючками, но это вряд ли: там внутри давно протоптаны безопасные тропинки.

Еще это отличный домик для котят, щенят и прочих дочек. А если бы взрослые снизошли к нашим мольбам и купили на рынке крохотного желтого цыпленка — всего за пятьдесят копеек! — то и его мы бы поселили в куст, в коробке из-под обуви.

Шиповник съедобен. Сладкие розовые лепестки заменяют дефицитную жвачку, правда, если жевать слишком долго — становится горько, и плюешься темной тягучей слюной, как корова. В середине лета в пищу идут большие круглые ягоды. Зеленые, они, честно говоря, не очень, но если дождаться, пока хотя бы один выпуклый бок побуреет, то в самый раз. Главное — не кусать слишком глубоко, а то наберешь полон рот противных колючих семечек.

Из незрелого шиповника мы делаем толстые обручальные кольца: потрешь с двух сторон об асфальт, на котором от этого остаются зеленые полосы, потом встрясешь сердцевину — и готово твое колечко!

Акация

Акация в пору своего цветения всегда вызывает бурные споры. Одни рьяно доказывают, что есть надо сами желтые цветки, другие стоят на том, что съедобны их внутренние сладкие корни, спрятанные в зеленую чашечку у самой ножки.

Зато мелкие зеленые горошины съедаются единодушно. А после весь двор оглашается пронзительными свистками. Маленькие стручки пищат высокими голосами, крупные — гудят басом. Кто-то умеет выдувать из них целые мелодии.

Но чаще всего акация используется как сигнал: завязжит у тебя под окнами хор веселых сопелок, когда ты под надзором бабушки, мучаясь, читаешь французскую книжку — значит, вызывают гулять и надо поскорее завязывать с братцем Лисом.

Подорожник

Наш первый помощник. Содранные коленки и локти, ладони, порезанные осокой, даже осиные укусы — всё лечится подорожником. Поплюешь на пыльный листок, приклеишь к ране — и бежишь дальше.

А еще из подорожника можно надергать упругих зеленых ниток, чтобы сшить платье из лопухов или повесить украшения на куст шиповника, потому что он елка, и мы празднуем Новый год. Иногда эти зеленые жилки завиваются, тогда они становятся волосами для куклы из одуванчика.

Одуванчики

Нет ничего красивее венка из одуванчиков. Пускай потом все руки в коричневом несмываемом молочке, а лицо и платье в желтой пылице — это неважно. Главное — закрепить уже сплетенный венок, чтобы он не распрямлялся и не падал с головы. Этого мы, увы, делать не умеем. Мы заматываем концы травой, но она быстро развязывается — и вот уже наши прекрасные, солнечно пахнущие короны сползают и виснут на ушах, а то и вовсе падают в пыль. Но просто выбросить венок нельзя. Мы надеваем их на горячие плечи кленов или на тонкие запястья берез.

Яблоня

Это наш штаб. Почти у самой земли ствол удобно разветвляется, так что даже неловкие

малявки могут вскарабкаться. Конечно, выше им уже не подняться, и они оседают на толстых нижних ветвях, но это опасно: с тропинки могут заметить взрослые и наябедничать родителям, что мы опять лазаем по деревьям.

Поэтому мы предпочитаем забираться на самый верх. Ствол, отполированный несколькими поколениями, приятно холодит разгоряченные ладони. И предательски скользит под ногами. Так что лучше залезать босиком, спрятав сандалии в траве.

Земля мелькает далеко внизу, ветка, в которую ты вцепился, ходит ходуном, дух захватывает. Но ты не можешь выдать своего страха, и когда мальчишка, качающийся на соседней ветке, побледневший под веснушками и чумазым загаром, неуверенно предлагает: «Лезем дальше?», ты отвечаешь: «А че? Конечно, лезем! Или слабо?» — и для уверенности сплевываешь вниз сквозь выпавшие еще весной передние зубы.

Тернослав

Совершенно невозможно дождаться, пока он созреет. Особенно, когда ягоды уже посинели, и кажется, что пора, а внутри — всё та же вязкая кислятина, от которой лицо перекашивается, как в кривом зеркале.

Но мы упрямы. Сидя верхом на ветках, мы долго катаем в пальцах твердые ягоды, на которых кое-где еще висят белые пожухлые лепестки. Если хорошенько размять, они становятся сладкими. По крайней мере, нам так кажется.

Язык деревенеет, зубы покрываются липким налетом, и мы не в силах больше проглотить ни одной ягоды. Тогда мы начинаем пуляться друг в друга косточками. Самые хитрые складывают их в карман, чтобы потом сбегать в подъезд, достать из тайника за почтовым ящиком рогатку... И вот уже косточки становятся страшным оружием: ими можно стрельнуть до синяка, а то и вовсе разбить окно.

Безымянные

Еще в нашем хозяйстве есть полезные мыльные цветы. Если потереть их между ладонями, выделяется пахучий сок, смывающий всякую грязь. Особенно это важно, когда собираешься идти домой — отпрашиваться еще на часик.

Есть фиолетовые цветы, растущие в палисаднике под окнами. Их сажает и стережет глухая бабка с первого этажа. У нее всегда наготове пучок какой-то особенно жгучей кра-

пивы, но и это нас не может удержать. Ведь если оторвать у такого цветка верхний лепесток-чашечку, то на свет появляются две тоненькие ножки-тычинки в изящных сапожках. Этими цветками мы всегда играем в принцессу и любовь.

Есть белые ягоды, которые оглушительно трещат и лопаются. Особенно если насыпать их на асфальт целую кучу, а потом прыгнуть с разбегу. Эти ягоды несъедобны и висят на кустах вплоть до поздней осени.

А осенью мы уже не те. Обремененные увесистыми ранцами и пакетами со «сменкой», мы одеты в нелюбимые шерстяные колготки и новые ботинки, в которых нельзя ходить по грязи. Осенью не погуляешь так самозабвенно, даже в выходные. Прежние игры выцвели и поскучнели, как трава. И над всем — тягостная тень невыученных уроков.

Белые ягоды щелкают под ногами. Мы скачем по ним с какой-то унылой удалью. И смутная тоска подступает к сердцу. И ранцы бьют по спине. И вот уже темнеет...

НЕМНОГО ТОЛКУ

Рано утром родители Егора уезжали на Приполярный Урал.

— Забудет нас, пока там землю роет, — сокрушалась мама, глотая горячий чай.

— Я вас запомню, — пообещал Егор между двумя огромными зевками.

— А в прошлый раз забыл, — усмехнулся отец.

Но Егор никакого прошлого раза вообще не помнил.

«А раз не помню, что забыл, значит...» — мысль тянулась, тяжелела и никак не могла дотянуться до конца, Егор отпустил ее — и тут же полетел; он всегда летал во сне.

Проснулся Егор при тусклом свете дня. Натянул рубашку и принялся помнить родителей, радуясь серьезному делу, которое у него, наконец, появилось. Однако это было слишком легко, и скоро он захотел помнить кого-нибудь еще.

Егор вышел в огород и побрел по грядкам, забросанным морковной ботвой и капустными листьями. Соседский пес бурно облаял его из-за забора. Егор подпрыгнул от неожиданности, и сердце заколотилось в горле.

«Тебя я помнить не стану. От тебя прока нет, одна ругань», — решил он и двинулся дальше.

Под старой антоновкой бабка Егора швыряла яблоки в гнущее ведро. Рядом соседка тетка Любаша плевала семечками себе на га-лоши.

— Вся природа через нас ума рехнулась! — кипела бабка. — Месяц как Покров был, а снега — шаром покати!

— По радио завтра зазимки обещали... — протянула тетка Любаша.

— А дождичка в четверг тебе там не обещали? Врут на каждом слове по семь раз! Пен-сию, брехали...

Егор побежал прочь. Резиновые сапоги больно стучали по щиколотке. Носки надеть он забыл.

На всякий случай Егор обернулся и запомнил тетку Любашу: с лохматой головы до ног, торчавших из-под вытертой шубейки.

Дальний край огорода незаметно переходил в ничейный пустырь. Забор давно завалился в крапиву и там сгнил. Пыхтя, Егор перебрался через канаву, забитую ни на что не годным мусором, и запрыгал по кочкам. Среди пучков сухой травы он вдруг увидел желтый одуванчик на короткой ножке.

— И чего ты тут вылез? — укорил его Егор. — Бестолочь! Завтра зима!

Он потрогал встрепанный затылок цветка.

— И какой в тебе толк? Весной надо было рождаться. Тогда бы рос все лето.

Одуванчик горестно кивнул.

— Что теперь с тобой делать?

Делать было нечего. Завтра зима, и земля надолго скроется под снегом, таким глубоким, что от маленькой березки, которая сейчас растет с Егора, не останется даже верхушки. Когда же он, наконец, растает, повсюду вырастут другие, умные цветки. А этого, глупого, больше никогда и нигде не будет.

— Но я тебя, дурака такого, запомню, — пообещал Егор и, не зная, чем еще помочь горю, решил измерить расстояние от березки до одуванчика и от одуванчика до канавы, чтобы весной точно знать, где тот рос когда-то.

— Сколько раз говорено не ходить за огороды! — заругалась над ним бабка.

Схватила за воротник и потащила. Егор обиделся.

— Я тебя забуду! — крикнул он и топнул ногой по грядке.

— Потопай мне тут! И так всё козы вытоптали!

Едва Егор успел опомниться от одной обиды, как бабка усадила обедать и водрузила перед ним полную миску ненавистного рыбьего супа. Чтобы хоть немного утешиться, Егор

принялся исследовать разрезы на кухонной клеенке, казавшиеся ему полостями и пещерами земли, в которых исчезли родители. Дядя, горбясь над своей тарелкой, читал журнал с выгнутыми страницами.

— На одном острове в Тихом океане ни разу не было войны, — бормотал он, бултыхая ложкой. — А все потому, что тамошние туземцы каждое утро рассказывают друг другу сны... Вот тебе, мать, что сегодня снилось?

— Отстань, — бабка с присвистом и всхлипом хлебала суп. — Мне никогда ничего не снится.

— Не может быть! — подпрыгивал дядя, роняя ложку в тарелку. — Человек всегда видит сны. Но, проснувшись, сразу их забывает. Мне вот сегодня Аленка снилась, будто она с вершины горы птицам пшено сыпет, а они внизу клювами щелкают.

Егор нахохлился. Аленкой дядя называл его маму, свою сестру, и Егора это возмущало донельзя.

«Сам ты Алешка!» — гневно подумал он, но вслух произнес другое:

— Так ты ее тоже помнишь?

— А то.

— Не надо! Я сам! — горячо заспорил Егор и от внезапной жгучей обиды капнул слезой в суп.

— А вдруг забудешь? — подмигнул дядя.

— Нет! — завопил Егор и вылетел из-за стола.

— Не встанешь, пока не съешь! — запоздало спохватилась бабка.

Егор спрятался за дверь, где была вешалка. Нашел среди неповоротливых пальто мамину кофту, прижался к ней лицом, вдыхая родной запах, и только собрался зареветь на весь дом, как вдруг передумал и тихонько, как взрослый, заплакал.

«Я один тебя помню по-настоящему. От этого дядьки Алёшки какой толк? Он тебя во сне помнит, невзаправду!»

— Пока я тут стою, кто-нибудь по улице идет, а я его не помню, — устыдился Егор и вылез из-под вешалки.

Но за окном никого не было. Метались голые деревья, ходили ходуном электрические провода, и шевелила мохнатыми плавниками серая туча, похожая на крокодила с козьей мордой.

— Совсем нечего помнить! — расстроился Егор.

«Только этот крокодил. А может, он на Приполярный Урал пробирается — людей лопать? И я его, злодея, помнить буду?»

Егор прижался лбом к стеклу, пытаясь разглядеть дальнейший путь крокодила, но того

уже не было — по небу струился расплывчатый рыбий скелет.

— То-то же! — сказал Егор и на всякий случай показал бывшему крокодилу кулак.

Тут на улице въехал мотоцикл, поперек которого пружинили длинные доски. На досках восседал незнакомый мужик. Едва Егор приготовился его запомнить, как он проехал мимо.

Правда, потом, опомнившись, затормозил у соседской калитки. Егор опрометью выскочил из дома, чтоб получше разглядеть мотоциклиста, но налетел на Кольку, который, пиная мешок со сменкой, возвращался из школы.

— Ненавижу учиться! — мрачно сказал Колька. — Скоро башня треснет. Столько учить надо!

— Как это — учить?

— Ну, в мозг пихать, наизусть помнить. Все буквы, всю таблицу размножения, да еще стишки: «Роняет лес какой-то там убор...»

— Забор, — поправил Егор. — И не лес, а ветер. Как его лес уронить может, он и ходить не умеет, стоит как вкопанный за дорогой.

Колька озадаченно лягнул мешок, и глаза его вдруг заволоклись слезами:

— А Карманов из третьего «А» Килькой обзывается! «Килька Кузин идет! Килька Кузин!» Я ему это припомню!

— Зачем помнить кильку? — удивился Егор. — Что в ней хорошего? Одно огорчение да кости.

— Как зачем? — в свою очередь удивился Колька. — Чтоб отомстить, когда вырасту!

Из ворот вышли тетка Любаша и мужик. Лицо у него было большое, но жалобное и какое-то подмокшее, словно его тоже обижали в школе. Глаза слезились, с унылого носа свисала капля.

«Не больно-то приятно тебя помнить», — разочаровался Егор и поплелся домой, так как тетка Любаша загнала Кольку делать уроки.

На кухне дядя читал огромный том. Егор забрался на стул и заглянул в книгу. Ровными шеренгами стояли на белой странице черные палочки и кружочки, такие одинаковые, что рябило в глазах.

«Зачем помнить буквы? — подивился Егор, вспоминая Кольку. — Разве они живые? Не буду в школу ходить, зряшное дело... А дядька Алешка столько книжек уже запомнил! Сколько же в них буков? Еще бы он сдачу не забывал! Он и маму, конечно, не помнит, куда ему!»

Пришла бабка, взгромоздилась на кровать. И завздыхала.

— Ох, помру скоро! Ох-ох-охонюшки, трудно жить Афонюшке на чужой сторонюшке...

— Какой Афонюшке? — не понял Егор.

— Никакой, присказка такая, — огрызнулась бабка, недовольная, что ее перебили, и завела снова:

— Ох, нет мочи, знать, помру к ночи...

— Бабка, расскажи лучше, как ты маленькая была, — опять встрял Егор, у которого от бабкиных охов противно сосало под ложечкой.

— Вот ведь! — рассердилась бабка. — Пристал как банный лист!

Но воздыхания были испорчены. Подвигав бровями, она принялась вспоминать:

— Однажды погнался за мной бык. Он у нас дурной был. Токаря Борьку забодал вусмерть. Я на поленницу прыг, с нее на дерево — и сижу там. А этот ирод башкой ствол трясет, чтоб я ему на рога свалилась. Тут, на счастье, хозяйка его идет, тетя Дуня Сапрыкина. Чмокнула губами, он и присмирел, и поплелся за ней, как собака...

«Вот помрет бабка, — думал Егор. — А я ее помнить буду. И как она от быка спасалась. И как мне ватрушки пекла. А про воротник и рыбий суп — так и быть, забуду. И получится, что она не совсем померла. А осталась жить у меня в мозге...».

Егор с сомнением ощупал свой лоб:

«Вдруг не влезет?»

Он поглядел на бабу, растопырившуюся на кровати, как большая птица. Один ее локоть торчал у дальней стены, второй прямо у Егора под носом. Черные валенки свешивались в проход вообще на другом конце комнаты.

«А я ее запомню маленькой!» — догадался Егор.

— Дядька Алешка, — заглянул он на кухню, — сколько всего в голове места?

— Уточните ваш вопрос, коллега, — закашлялся дядя.

— Ну, сколько туда людей влезает?

— В голову? Зачем?

— Чтобы помнить.

— Ах, помнить, — засмеялся дядя и опять сбился на кашель. — Так помнят не головой, а сердцем.

«Все ясно, — подумал Егор, выходя во двор. — Буквы помнят в голове, а людей — в сердце, потому что они живые».

Над крыльцом уже нависли ранние ноябрьские сумерки. Надрывался, гремя цепью, соседский пес. Егор осторожно выглянул за ворота. Мужик, который днем привез доски, стоял у забора, дирижировал и пел дребезжащим голосом:

— На побывку едет молодой моряк...

Черная куртка его была до пупа расстегнута, из щели торчал волосатый шарф. Мужик неловко переминался на месте, и было видно, что он изо всех сил хочет веселиться, но не знает как.

— Эй, — окликнул Егор. — Где твой мотоцикл?

— Запомню, — жалобно ухмыльнулся мужик.

— Не горюй, — утешил его Егор. — Я тебя все-таки запомнил.

Мужик посмотрел подозрительно:

— С какой это стати? Я себя прилично веду. Не нарушаю. Ну, выпил человек — зачем же сразу?

Егор удивился.

— Чего глаза таращишь? — заорал вдруг мужик. — От горшка два вершка — а туда же! Подглядывать! Проявлять бдительность!

Егор бросился наутек и со всей мочи врезался в тощий дядин живот.

— А-а-а! — завыл Егор, не зная, как реагировать на странный разговор.

— Ты чего? — дядя неловко обхватил Егора. — Кто тебя напугал? Этот? Да он себя не помнит. С утра пьяный.

Егор отпихнул дядю и поплелся в дом. Он вдруг страшно устал всех помнить. Бабка на

кухне свирепо гремела кастрюлями. Егор обнял мамину кофту, свернулся на продавленной тахте и загоревал.

На комодѣ неспешно стучали ходики.

— Поторапливайтесь! — прошипел Егор в лунное лицо часов. — Не то я сам помру, пока они вернутся! Кто тогда всех помнить будет? А меня — кто?

Не успев додумать страшной мысли, Егор скатился на пол.

— Дядя! Дядя! Ты меня помнишь?

— А ты кто? Никак Любашин Колька?

Егор дикими глазами обвел кухню и заревел.

Бабка в сердцах грохнула о плиту чугунную сковородку:

— Ироды полоумные! На грех меня навели! Вон отсюда обои!

Егор выскочил во двор и помчался наугад по грядкам, решив бежать до самого Приполярного Урала, пока его не забыли хотя бы родители.

В темноте он споткнулся о канаву и во весь рост растянулся на ничейной земле. Прямо перед глазами качался знакомый глупый одуванчик.

— Я тут один хожу, всех помню, — пожаловался ему Егор. — А меня — никто. Хоть ты меня не забудешь?

Цветок кивнул.

— Вот видишь, не такая уж ты и бестолочь.
Немного толку в тебе тоже есть.

Егор опустил голову на одуванчик, и закрыл глаза. Дядя, подошедший следом, осторожно взял его на руки и понес в дом. Егор этого уже не помнил — он спал.

Наутро выпал снег. И повсюду в мире началась припозднившаяся зима.

СИЗЫЕ БУЛЫЖНИКИ

Впервые я задумалась о смерти в три года. Недалеко от нашего дома был высокий овраг, где текла маленькая мутная речка Ягошиха, не замерзавшая даже зимой. Мост над оврагом, по которому нам с мамой часто приходилось ходить, был наполовину разобран, и сквозь гнилые балки страшно сосала мое сердце высота. Я всегда, особенно во сне, боялась, что она затянет меня, и я безвозвратно улечу вниз, в гнилую речку.

И вот однажды я уронила с моста моего резинового бегемота. Но он не провалился совсем, а застрял на одной из балок. И мама, решив, что я убиваюсь по игрушке (а я захлебывалась страхом высоты и каким-то еще более жутким, но пока безымянным чувством), полезла за ним.

Это был самый большой ужас моей маленькой жизни. Мне показалось, что мама сейчас улетит туда же, вслед за резиновым бегемотом. И уж ее-то, конечно, никакая балка не спасет.

«Хватит реветь! Я же тебе его достала!»

Мы уже выбрались с моста и шли между гаражами. Под ногами была булыжная мостовая. Я плелась за мамой и смотрела, как мои

слезы падают на брусчатку. И вдруг меня пронзила мысль, которой я до этого не знала. Я поняла, что когда-нибудь мама умрет. А через секунду — первый раз в жизни — что однажды это неминуемо случится и со мной.

До сих пор, когда думаю о смерти, первое, что возникает в уме — сизые булжники, очень близко от глаз, с высоты трехлетнего роста.

В тот день меня фотографировали. Белое платье в крупный горошек. Резиновый бегемот, которого я держу совсем отстраненно, на отлете. И взгляд. Взгляд человека, который только что впервые осознал смерть. А показываешь кому-нибудь эту фотографию — умиляются: «Надо же, какая серьезная девочка».

Назавтра в детском саду мы играли. Моей игрушкой был желтый пластмассовый еж на железных колесиках. Я возила им по линолеуму, оставляя черные полосы, и неожиданно посреди игры сказала, как бы от лица этого ежа: «Мы все умрем, умрем, умрем!»

Тут же все мои товарищи, не сговариваясь, схватили своих зверей и дружно переместились в другой угол. Молча. И какое-то время ко мне никто не подходил, как к заразной.

Так я поняла, что про смерть — это неприлично. И замолчала о ней на долгие годы. Но

думала-то каждый день. Как самураи. Гораздо позже я узнала, что эти мысли должны делать жизнь яркой и полноценной. Мою они лишь отравляли. И не было никого, кто бы поговорил со мной. С кем бы я могла поговорить об этом. Взрослые отмахивались — мала еще. Дети в суеверном страхе разбегались. Читать я еще не умела. Так в возрасте трех лет я осталась один на один с самым страшным человеческим вопросом.

Он поселился во мне, привычно и неотступно, как элемент пейзажа, как страшный мост над Ягошихой, который был виден отовсюду — и всегда подспудно присутствовал во всех моих детских делах.

Конечно, не было у меня тогда (и не могло быть) никаких внятных представлений, рассуждений, мыслей. Это сейчас, пристально вспоминая детство, я могу что-то сформулировать, попытаться подобрать слова. Например, что своей смерти я боялась гораздо меньше, чем смерти близких. Точно помню, как лет в семь, узнав о существовании ядов, мечтала раздобыть пузырек и отравиться, чтобы не видеть, как умрет бабушка. Про свою смерть я думала, как позже выяснилось, в стиле киников: раз меня тогда уже не будет, то некому будет ее бояться. И потом, я была уверена, что со мной это про-

изойдет очень-очень нескоро, а значит, я еще успею что-нибудь понять.

О том, что взрослые, а особенно — старые, кое-что знают о смерти, я догадывалась. Неизгладимое впечатление на меня произвели в свое время разговоры бабушки с соседками. Потягивая чай с блюдца, они мирно обсуждали, кто из знакомых уже «отправился». Это слово произносилось столь буднично и спокойно, что я не сразу догадалась, о чем речь. А когда поняла — поразились: неужели они совсем не боятся? С детской прямоотой я задала им этот вопрос, за что меня тут же изгнали с кухни, а бабушка потом наедине долго ругала.

В детстве я думала, что эта тема запретна только для детей. Теперь я знаю, что в нашей культуре вообще неприято говорить о смерти. Это дурной тон, как в детском саду, так и во взрослой компании. И я до сих пор не могу понять — почему. Ведь это так нужно. И в принципе возможно.

Недавно я смотрела документальный фильм о Тибете. Действие происходит в маленькой горной деревеньке. Умирает один крестьянин, и мальчик, случайно оказавшийся рядом, спрашивает старого учителя, что такое смерть. Весь фильм посвящен ответу на этот закономерный и неизбежный детский вопрос. Учитель чита-

ет мальчику древнюю книгу, которую в Тибете знают даже неграмотные, причем знают с самого детства. Книга обращена к человеку, находящемуся на грани смерти. В ней есть, например, такие простые слова: «Не бойся, ведь сейчас ты уже ничего не можешь изменить». И еще: «Ты не один, ведь смерть происходит с каждым».

В этих словах нет ничего сложного, ничего такого, что не в состоянии понять ребенок. И о чем при желании не смог бы сказать ему взрослый. И я точно знаю, что, может быть, не этих именно слов, но вот такого простого и спокойного разговора о смерти мне не хватало всю жизнь. Начиная с трех лет.

ЛЮДЬ

* * *

Первой ее замечает двухлетняя Ляля, стоящая на табуретке у окна.

— Бака, бака! Люка папот эёт! — вопит Ляля, что значит: «Бабушка, бабушка! Любимка паспорт несет!»

Любимка, белая дворняга с желтыми ушами, виноватой рысцой трусит по двору. Ей навстречу уже выскакивает простоволосая Лялина «бака» и вынимает из Любимкиной пасти паспорт на имя Верина Прокопия Ивановича. Вернувшись в комнату, она, вздыхая, вытирает паспорт полотенцем и прячет в рыжий комод. Затем сдергивает с крючка серый шерстяной платок и, на ходу повязывая голову, опять выбегает на улицу.

— Ну, веди.

И Любимка подпрыгивает и, слабо вильнув хвостом, пускается в обратный путь, в конце которого спит на грязном покровском снегу Проня Верин — добрейшей души человек, ровно половину жизни проведший в тюрьме.

* * *

Проне Верину не везло с детства. В третьем классе он заболел менингитом и вылетел из

школы. Да так до первой щетины и гонял гусей, резался сам с собой в ножички и зубоскалил с редкими прохожими.

Наскучив вольной жизнью, Проня стал ошиваться возле проходной, канюча, чтоб его «задействовали в пятилетке». Но на завод его не взяли: не положено с «психической справкой». Зато стали регулярно кормить шабашками. Так что Проня к шестнадцати годам накопил на башмаки «со скрипом». И тут же задумал жениться на соседской девчонке, в которой, как он хвастал на рынке, было «росточку с валенок».

Оставалось дожидаться совершеннолетия. Но когда Пронины одноклассники пошли в армию, Проне тоже забрали лоб. В тюремной бане. Произошло это совершенно случайно: представляя гогочущим мужикам беспосадочный перелет Чкалова, Проня так размахался руками, что ненароком проломил череп подошедшему сзади участковому.

Из зоны он написал письмо:

«Уважаемая товарищ моя невеста, имени-отчества твоего я не знаю, но хочу связать с тобою мою непутевую жызнь. Находясь в местах лишения, любовь твоя необходима дозарезу. Как поется в песне, жди меня и я вернусь (через год и восемь месяцев). Твой буду-

щий супруг Прокопий Верин. Сообрази мне, сердечно прошу тебя, заварки да махорки».

Спустя две недели Проня получил такой ответ:

«Уважаемый товарищ Верин! Твоей женою быть согласная. Провизию и табак по твоему запросу высылаю».

Освободившись, Проня потопал напрямик к суженой. По пути, правда, завернул на рынок: поздороваться с мужиками. Встреча вышла столь щедрой и стремительной, что вскоре Проне стало трудно стоять, и он прислонился к хлебному ларьку.

Когда Проню попытались оторвать от прилавка, чтобы отвести к невесте, он потерял равновесие, неловко взмахнул руками, и пудовый кулак его впечатался в челюсть хлипкого старикашки Загоскина, торговавшего мочалом. Второй Пронин кулак обрушился на мотоцикл татарина Хабибуллина, на кожаном сиденье которого была разложена закуска.

Ни старикашка, ни мотоцикл от встречи с кулаками Прокопия Верина не оправались, а сам Проня, не поняв хорошенько что к чему, уже оказался на тех же самых нарах, где ногтем царапал крестики, считая дни до воли.

Заключенный Вахтанг, по прозвищу Кикабидзе, присел в ногах понурого Прони и, при-

жав руки к груди, запел жестокий романс. На строчке: «неужели снова сяду, так и не увидев вас», Проня вскрикнул и отвернулся к стене.

* * *

Рынок в Покрове — место совершенно особенное. Это средоточие всей здешней жизни, клуб и народное вече, вместе взятые. На пустыре, с четырех сторон огороженном деревянными ларьками, вершатся дружба и вражда, решаются вопросы международной политики, складываются и распадаются заговоры против заводского начальства. Единственное, с чем здесь туго, так это с торговлей. Про нее как-то все время забывается.

Проня Верин всегда приходит на рынок в сопровождении своей беспородной Любимки, про которую говорят, что она спит не на коврик у порога, как это положено собакам, а между супругами на вышитой подушечке.

Прохаживаясь по рынку, Проня выглядывает заезжих деревенских мужиков (свои-то покровские все про этот фокус уже знают). Дальше всё разыгрывается как по нотам: заключается пари на поллитру, спорщик покупает здоровый кус колбасы и кладет перед Любимкой. Проня тихо говорит ей: «Не трожь». И отправляется в обход рынка.

У каждого прилавка Проня останавливается: порасспросить, порассказать, ну и угоститься маленько.

— Первая колóm! — кряхтит Проня, занюхивая рукавом тулупа. — А у нас со старухой, слышали, подкидыш! Севкина девка дёру дала в Челябинск. А личинку свою — нам, нате пожалуйста!

— Ой-ёй! — колыхается над кадкой огурцов краснолицая Маня. — А Севка-то че?

— Да че, — охотно откликается Проня. — Плесни-ко! Неделю гудел да вышел весь. Весь в меня — невезучий... А-а-ах! Вторая — соколóm!

— Это че же, — наклоняется над заиндевелой тыквой старуха Загоскина, — замели, че ли, Севку-то твою?

— А третья — мелкой пташечкой! — довольно облизывается Проня. — Да не-е-е. Но, чую, скоро. В Челябинске видали его.

К Любимке он возвращается «веселыми ногами», как говорит местный дурачок Костян. Нетронутый кус колбасы припорошен снегом. Проспоривший мужик уже сбегал за поллитрой.

— Ах, ты моя сучечка! Людь моя дорогая! — треплет Проня дрожащую Любимку. — Ну, жри, милая, вольно, Господь с тобой!

Проня свою норму знает. Одной рукой — швыряет через плечо пустую бутылку, другой — достает из-за пазухи паспорт и вручает его Любимке. Дальше можно ни о чем не беспокоиться. И Проня сонно валится в сугроб.

Вот уже спешит на выручку маленькая Пронина жена в больших валенках. Скачут за ней по ухабам деревянные санки. Мелькают впереди желтые уши Любимки. Мужики вздыхают и с завистью глядят им вслед. Все в Покрове знают, что за всю жизнь Пронина жена не сказала ему ни слова упрека.

Медленно, со скрипом, едут они домой. Огромный Проня лежит на санках, ноги волокутся по дороге, загребая грязный снег. Проня таращится на робкие ранние звезды, счастливо улыбается и хрипит:

«Неужели снова сяду, так и не увидев вас?»

Тем временем в длинном коридоре соседский Оська дразнит маленькую Лялю:

- Ты кто? Тумбочка?
- Нет, я людь!
- А, может, ты табуретка?
- Лю-уудь!
- Я знаю! Ты — топинамбур!

* * *

В тот день, когда Пронину жену увезли в больницу, Проня на рынок не пошел. До сумерек продымил у окна самокрутками. Любимка тревожно дышала у двери и иногда тихонько поскуливала, как бы про себя. Одна только Ляля была весела: она играла в «баку»:

— Папот! На! — командовала Ляля, засовывая в пасть Любимке сплюсненную дедову тапку.

Покрыв голову бабкиным серым платком, который был ей до пяток, Ляля громко вздыхала, забирала у Любимки «паспорт», терла его полотенцем. Проня оборачивался, смотрел на внучку и мучительно соображал, что же ей нужно.

* * *

«Видать, купаться просит!» — догадался Проня и отправился на общую кухню за кипятком. Вернувшись в комнату с дымящим чаном в руках, спохватился, что забыл принести холодную воду.

«Куды ж теперь его девать?» — размышлял Проня. — Запрячу на самую верхотуру — всё одно доберется и улькнет се на макушку. Ска-

жу: “не трожь” — тем больше полезет! Это те не Любимка...»

Тут Проню осенило. С равнодушнейшим видом он поставил посудину посреди комнаты и, насвистывая, пошаркал на кухню. Теперь-то Ляля вряд ли заинтересуется: «Ну, стоит кака-нито фиговина, а и пускай се стоит, велика важность!»

Еще за две двери до своей Проня почувал неладное: надсадно выла Любимка. Влетев в комнату, Прокопий Верин увидел Лялю, стоящую прямо в чане. Сквозь пар на Проню глядели два испуганных круглых глаза. Он выронил ведро и выдернул внучку из кипятка. Всклипнув, упали на пол Лялины валенки.

— Ошпарилась? — выдохнул Проня, боясь глянуть вниз, на крошечные босые ножки.

— Не-а, — шепнула Ляля и сладко, на весь дом, разревелась.

К Проне вернулось сознание. Первым делом он почувствовал, что стоит в луже. Потом — что ужасно счастлив. Третья мысль была про жену, но он ее не додумал.

* * *

На следующее утро Проня с Лялей шли в больницу к бабке.

«И че с ней делать? — рассуждал про себя Проня. — Попросишь: не говори — тут же дрынкнет. Не попросишь — хе-хе... Да, это те совсем не Любимка, нет уж!»

— Че, мать, — бодро гаркнул Проня, увидев свою маленькую жену под куцым казенным одеялом. — Мой черед к тебе на свиданку бегать?

— Бака! — Ляля проворно вскарабкалась на железную койку. — А Поня вчя...

Тут на счастье в палату вошел татарин Хабибуллин, увидевший Проню из окна мужского отделения.

— Ой ты, капелька! — легко подхватил он Лялю и поднес к белесым смеющимся глазам.

— Я не кайка! Я людь! — возмутилась Ляля и взялась за дужку очков.

— Когда мамка с папкой померли, — радостно заговорил Хабибуллин, оборачиваясь к Проне, — я с сестрой нянькался. Хлеб дашь — плакáет. Конфетка дашь — плакáет. А покажешь палец — смеется!

* * *

На похороны Пронинной жены пришли две древние скрюченные плакальщицы. Они стояли друг против друга и по очереди всхлипы-

вали. Постепенно в рыданиях нащупывался ритм, и тогда одна из них, закатив глаза, заводила пронзительным страшным голосом:

«Прилетять к те на могилку кукушечки-инии...

Да ты знай, что то не кукушечки кукуую-уууууть...

То твои малые детушки горю-ууууують...»

Ляля стояла на стуле, позади курящих взрослых, окружавших ящик с «бакой».

И утрюмо думала: «Я не ушика, я людь!»

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Первая настоящая любовь случилась со мной, когда мне было пять лет. До этого, по рассказам мамы, я уже неоднократно в кого-то влюблялась, но, судя по тому, что моя память не сохранила об этих переживаниях никаких, даже самых смутных, воспоминаний, все это были мимолетные увлечения.

А вот с Игорем, с которым мы ходили в одну детсадовскую группу, у нас была настоящая любовь. Я точно помню, что мы именно так и говорили друг про друга: «У нас любовь». Конечно, я играла и с другими мальчиками, но все это была несерьезная детская возня. Только с Игорем мы занимались по-настоящему важными делами.

Само слово «любовь» указывало на присутствие тайны. У нас было множество если не тайн, то каких-то захватывающих вопросов, которые мы могли обсуждать только друг с другом. Все остальные ничего не знали! Причем одни (дети из нашей группы) не знали, потому что были еще маленькими, другие (родители) — потому что им было некогда. А тайны наши были такие страшные! Все — про спасение мира, не меньше.

Чтобы не выдать себя враждебным силам, покушающимся на наш мир, мы улетали в космос. У нас было две ракеты.

Одна, деревянная, стояла в закутке, отведенном для гуляния нашей группы. Внутри нее было пустое пространство, рассчитанное на одного ребенка, но мы забивались туда вдвоем и бесконечно шептались о планах спасения мира, пока нас не выковыривала из деревянного узилища всегда на что-то сердитая воспитательница.

Вторая ракета стояла во дворе у Игоря. Была она гораздо просторнее первой. От нее на землю спускалась железная горка. Наскучив спасением мира, мы начинали спасать друг друга. Главный сюжет наших полетов на этой ракете заключался в том, что периодически кто-то из нас начинал падать в открытый космос (съезжать с горки), а второй пытался его удержать. Иногда падали оба.

К сожалению, сейчас я забыла почти все наши космические тайны. Помню только, что однажды нам открылось, будто дальняя гора, видная из окон моей квартиры, это вовсе не гора, а голова спящего Кощея. И чтобы Кошфей не проснулся, надо срочно изрыть всю гору снежными норами (дело было зимой). Задача это была трудная. На дальнюю гору нас гулять не пускали. Для детских радостей, вроде катания на санках, была предназначена ближняя гора.

Но ведь только мы могли спасти мир! Взяв для прикрытия санки и сказав родителям, что идем кататься с ближней горы, мы отправлялись на Кощееву голову и до глубоких сумерек рыли норы в снегу, даже не разговаривая друг с другом, так торопились. Но дело практически не двигалось с мертвой точки. Гора была огромной! А вырытые норы за ночь опять засыпало снегом, и нам приходилось начинать все сначала.

Я отчетливо помню наши возвращения домой. Плечом к плечу, обессиленные, волоча за собой бесполезные санки, почти отчаявшись, но при этом утешая друг друга, что, мол, ничего, сегодня ночью он не проснется, ведь несколько нор мы все-таки успели вырыть, а завтра с новыми силами...

Дома нас не пускали на порог. Обе мамы одинаково охали, захлопывали перед нами дверь, а через секунду выбегали с веником в руках и начинали отряхивать намерзшие на нашей одежде комья снега. На площадке вырастали сугробы.

Но были и у нас минуты подлинной беззаботности. Помню один теплый летний вечер. Мы с Игорем самозабвенно раскачиваемся на скрипучих качелях и на весь двор горланим: «Толстый-жирный, поезд пассажирный!»

Наша выходка посвящается незнакомому полному дядьке, курящему на балконе. Нам ужасно весело. От качелей, от лета, от нашей дразнилки и от сознания полной безопасности: дядька стоит на пятом этаже, и если он рассердится, мы всегда успеем убежать. Но дядька и не думает сердиться. Он добродушно смотрит на нас и раскатисто кричит в ответ: «Эге-гей, разбойники!»

От сказочного слова «разбойники», обращенного к нам, мы приходим в окончательный восторг, наши качели одновременно взлетают вниз головой и делают солнышко...

Иногда мне кажется, что только в ту головокружительную минуту мне и было дано испытать абсолютное счастье и полную свободу, без всяких «но», без всяких изнурительных сомнений.

Такой же безусловной была и наша любовь. Не только для нас, но и для окружающих. Если я играла со своими дворовыми подружками и за мной приходил Игорь, то я тут же бросала своих недопеленатых «дочек» и недорезанные салаты из осоки. Когда я заходила за ним, то и он оставлял недостроенные крепости и не доведенные до победы войны. И мы уходили в наш мир на двоих. И никто из брошенных на пол-игре мальчиков и девочек никогда не воз-

мутился, ничего не сказал против. Никто не смеялся над нами, не дразнил женихом и невестой. У нас была любовь, и все об этом знали. А любовь требует уединения.

Даже взрослые, как мне сейчас кажется, поневоле заражались этой нашей серьезностью. И когда в детсадовской раздевалке я встала на скамейку (для пущей торжественности) и объявила маме, что мы с Игорем решили пожениться, я не помню, чтобы она хотя бы улыбнулась, услышав эту новость. Она совершенно серьезно сказала, что женятся только взрослые. На это ожидаемое возражение я не задумываясь ответила, что у взрослых свои свадьбы: золотые, серебряные, а у нас будет детская свадьба, ромашковая. И мама согласилась.

Судя по всему, родители «жениха» согласия на нашу свадьбу все-таки не дали. Потому что следующей тайной для обсуждения в космосе стал побег из дома. Мы, не читавшие ни одного любовного романа, тем не менее отлично знали, что влюбленные, которым запрещено жениться, бегут из дому.

Из-за побега произошла наша первая и единственная размолвка. Мы решали, что необходимо взять с собой. Игорь утверждал, что самое главное в побеге — это прищепки.

А я стояла на том, что важнее прищепок кофейные жвачки. Так мы и не смогли договориться.

Тем временем судьба готовила нам куда более суровое испытание. Меня, шестилетнюю, решили отдать в школу. Игорь же еще на год оставался в детском саду.

Я помню последний день, 31 августа. Отглаженную форму, новый скрипящий ранец. И я отпрашиваюсь гулять, меня не пускают (завтра такой важный день), но я умоляю: всего на двадцать минут, ну пожалуйста, ну пожа... и пулей вылетаю во двор.

Наш последний вечер. Последние двадцать минут любви. Самая первая в жизни разлука. Самое жгучее детское горе. Я бежала до его дома, захлебываясь от слез. Когда я вошла, он понуро сидел над тарелкой супа.

Но, увидев друг друга, мы все забыли. И про разлуку, и про двадцать минут, и про то ужасное (школу), ждущее меня уже завтра. Мы забрались в какой-то гараж, стоявший на склоне горы, и предались мечтаниям. В соломе, которой был устлан пол гаража, мы планировали устроить приют для бездомных животных.

Еще в тот последний вечер мы целовались. Игорь тайком подсмотрел в каком-то взрос-

лом фильме, что «взрослые, когда любят, они делают губы к губам, вот так...».

Нацеловавшись и намечтавшись, мы вылезли из гаража и обнаружили, что на улице уже ночь. Мы стали подниматься в гору, держась за руки. Последнее, что я помню про Игоря, — это как на горе обезумевшие родители, уже вызвавшие милицию, схватили нас и бестрепетно растащили в разные стороны.

Так и кончилась наша любовь. На завтра у меня началась совсем другая жизнь. Мне тоже стало некогда. А Игорь с родителями вскоре куда-то переехали. Больше мы не виделись никогда.

ПЕРВЫЕ СТИХИ

Свои первые стихи я написала в девять лет. Произошло это в день рождения Пушкина, который моя мама и ее литературные друзья всегда отмечали как свой собственный. Незадолго до этого мы с классом выступали перед ветеранами в честь 9-го мая, и я звонким пионерским голосом читала со сцены: «Победа! Победа! Победа! Проносится весть по стране...» Эти звенящие строчки накрепко засели в памяти.

Абсолютно не помню, как у меня возникло желание самой что-нибудь написать. Наверное, атмосфера навеяла. День рождения Пушкина мамыны друзья всегда отмечали так: собирались на квартире у какого-нибудь поэта, садились за стол и наперебой читали стихи. Потом все начинали много курить и меня усылали в другие комнаты.

На этот раз другой комнатой оказался самый настоящий Кабинет Поэта. И мне показалось, что в такой обстановке логичнее всего заняться сочинением стихов.

В голове почему-то вместо тех прекрасных стихов, что читали за столом, упрямо звучала заученная в школе «Победа». Недолго думая, я написала на листе бумаги:

Реформа! Реформа! Реформа!
Проносится весть по стране!
Конец горбачевской платформе!
Давайте свободу Литве!

Мне как-то и в голову не пришло, что можно написать, например, о себе. Мне казалось, что стихи должны быть написаны исключительно на взрослые темы. А в то время (это был девяностый год) все взрослые говорили только о политике. Помню, ночами все с замиранием сердца смотрели какие-то заседания Верховного Совета, где бесконечно ругались с трибуны скучные дядьки в пиджаках. А взрослые напряженно слушали и говорили шепотом: «Судьба страны решается...»

Вот и я не осталась в стороне. Я написала про все, зарифмовала все непонятные, но, судя по всему, ужасно важные слова: хозрасчет, дефицит, суверенитет... Иногда ко мне кто-нибудь заглядывал, но тут же скрывался обратно. Ведь все были сами поэты, или друзья поэтов, или жены поэтов — они понимали, что к человеку, самозабвенно марающему бумагу, лучше не приставать.

Когда я все дописала, заинтригованные взрослые, разумеется, потребовали немедленного публичного выступления. Меня постави-

ли на стул. Все вдруг замолчали и стали смотреть в мою сторону. Я ужасно оробела, но отступать было уже поздно. И я начала.

Конечно же, пока я читала, я ничего вокруг себя не видела и не слышала. Но вот я произнесла последнюю строчку и огляделась. Все, смотревшие на меня в начале моего бенефиса, больше на меня не глядели. Они сидели, согнувшись пополам, схватившись кто за голову, кто за живот, и даже не хохотали, а тихонько выли и всхлипывали от душившего их смеха.

Они даже забыли снять меня со стула. Я слезла сама. И молча ушла на кухню. Это был полный провал. Я была опозорена навеки. Я спряталась под стол и разрыдалась. После разлуки с Игорем это было мое второе Великое Горе. Безутешное и сокрушительное, как тогда.

Конечно, через минуту взрослые, отсмеявшись и придя в себя, прибежали на кухню. Стали вытаскивать меня из-под стола, обнимать, говорить, что я молодец, что это они от радости так смеялись...

Но горе было. От этого никуда не деться. И стихи я с тех пор писать перестала, вернувшись к этому спустя целую жизнь, в тринадцать лет, по вине своей первой, теперь уже школьной любви.

...Я очень хорошо помню, что в детстве меня часто пронзала какая-то совсем недетская печаль. Какое-то ощущение необратимости. Конечно, я не думала об этом так, именно такими словами. Просто иногда вдруг я обводила счастливый мир вокруг себя печальным взглядом и безошибочно знала, что это все не навсегда, что это никогда не повторится. И заранее начинала скучать. По своей молодой маме, по своей Первой Настоящей Любви, по качелям, взлетающим вниз головой, по деревянной ракете, уходящей в открытый космос...

Говорят, что лучше не возвращаться в те места, где прошло детство. Этим летом я, не поверив, зачем-то вернулась туда. Огромная Кощеева гора оказалась невысоким, каким-то стоптанным пригорком, а на месте, где мы качались на качелях, дразня добродушного толстяка, стоял новый многоэтажный дом.

НАСТОЯЩИЙ ДРУГ

Это было давно. В те времена, когда еще ни у кого не было сотовых телефонов. Да и домашние были далеко не у всех. У меня вот, например, не было.

Зато у меня был Настоящий Друг. Звали его Женька. Мы учились вместе, но первые полтора года (весь десятый и начало одиннадцатого класса) совсем не замечали друг друга. Нам обоим было не до того. Женька любил Сеницыну, а я — нашего учителя литературы.

А потом вдруг что-то случилось, и мы за один вечер стали Настоящими Другами. Причем Женька продолжал любить Сеницыну, а я уже любила Сашку. Но в тот вечер мы стояли вдвоем за шторой, смотрели на звезды сквозь морозное стекло и понимали, что вот, мы — Настоящие Друга.

Это было в январе. А в феврале у меня был день рождения. Нашей же Настоящей Дружбе исполнилось ровно пять недель. Женька по-прежнему любил Сеницыну, а я уже начинала разлюбить Сашку и готовилась влюбиться в Пашу. Поэтому в тот день мы с Сашей как бы случайно оказались у него в гостях.

Паша жил с нами в одном районе, но довольно далеко. В реликтовой деревеньке, со

всех сторон окруженной многоэтажками. У него был большой сторожевой пес, которого все боялись. Идти к Паше надо было через дворы, рынок, заброшенный Дворец пионеров, пустырь, бывший парк аттракционов, трамвайное кольцо... В общем, путь неблизкий.

Женька не знал ни Сашу, ни Пашу, ни наш район, ни деревеньку. Но он знал, что мне в ту субботу стукнуло шестнадцать лет. И вечером он приехал ко мне в гости с другого конца города.

«А она у Паши, — растерянно сказала Женьке моя мама. — Это где-то по направлению к Волге. Там еще дом деревянный. А во дворе — злая собака».

Более точных координат она дать не могла. Потому что с Пашей мы были знакомы всего неделю.

Не знаю, как бы поступил в подобной ситуации кто-нибудь другой. Наверное, выругался, покурил в подъезде, да и поехал бы восвояси. Но Женька-то был Настоящий Друг. И поэтому он вышел из дома и пошел наугад в сторону Волги. На улице, надо сказать, был ужасный мороз. И совсем не было прохожих, даже очень пьяных.

Мы сидели у Паши и смотрели концерт группы «Наутилус». Точнее, я смотрела на

Пашу, Саша смотрел, как я смотрю на Пашу, и один только Паша смотрел в экран, потому что Бугусов был его любимый певец.

Вдруг за окном залаяла и загремела цепью страшная Пашина собака. Паша, душой пребывая в Комнате-с-белым-потолком-с-правом-на-надежду, поднялся с пола и сомнамбулически вышел во двор.

«Это за тобой!» — изумленно сказал он, вернувшись.

Я испугалась. Кто мог прийти за мной в дом, где я сама была первый раз? Дрожая от холода, любопытства и страха перед оскаленным сторожевым зверем, я спустилась с крыльца. За забором, под яркими зимними звездами, в нимбе инея, намерзшего на шапку, стоял Женька. Мой Настоящий Друг.

— С днем рождения! — сказал Женька, еле двигая синими губами, и протянул через забор подарок: два билета в драмтеатр.

С тех пор прошло много-много времени. Так много, что даже Женька успел разлюбить Синицыну. Если быть точным — двенадцать лет. Видимся мы теперь невозможно редко, самое большее — раз в году. При встречах мы по-прежнему радуемся друг другу, но уже через полчаса не знаем, о чем говорить. Мы улыба-

емся, молчим, и Женька посматривает на часы. Он теперь занятой человек — Зарабатывает Деньги.

А еще иногда он мне звонит. Ведь теперь у всех есть телефоны. Звонит и просит:

«Расскажи что-нибудь».

Я подхожу к окну и рассказываю:

«На деревьях появились первые листья. Снег остался только в оврагах. Скворцы вернулись...»

«Надо же! — удивляется Женька. — Оказывается, весна! А я уже сто лет весны не видел...»

«Все зарабатываешь?», — сочувствую я.

«Зарабатываю», — вздыхает Женька.

И все-таки, когда мне становится особенно одиноко, я всегда вспоминаю, что и в моей жизни однажды было такое: мороз, звезды и Настоящий Друг идет ко мне, не зная дороги. И приходит. На то он и настоящий.

НЕ ВАШЕ ДЕЛО

О том, что Кривовы спиваются, долгое время знал только их сын. Когда это началось, Юрка как раз пошел в первый класс. Поначалу Кривовы своей болезнью стеснялись и пили вдвоем в прокуренной квартире.

Примостившись на подоконнике за шторой, Юрка рисовал закорючки в прописях, учил под гудение родителей стихи про «лес, точно терем расписной», клеил аппликации из цветной бумаги.

В школе ни о чем не догадывались.

— Способности у Кривова, конечно, ниже средних. Но, может, еще подтянется, — говорила на собраниях Юркина училка, рассеянно глядя на родителей и не зная, к кому из них сейчас обращается.

Тетя Алена Кривова, когда-то учившаяся в этой же школе, стыдливо горбилась за последней партой и прятала глаза. На людей, включая Юркиных одноклассников, она уже тогда стала смотреть слегка заискивающе, как на свое магазинное начальство: не учует ли кто запах перегара.

Маленький Юрка отличался от своих сверстников только тем, что никогда не спешил домой. В любую погоду он месил грязь на ок-

рестных пустырях, мерил сапогами лужи, а потом грелся в подвале, дрессируя кошек. Но и тут никто не заподозрил ничего неладного.

В середине ноября у Юрки появился товарищ — конопатый Герка из параллельного класса. Герка был вдохновенный врун. Захлебываясь, он обрушивал на молчаливого Юрку потоки невероятных историй об инопланетянах, индейцах и вампирах. Геркины родители начали разводитьсь — с битьем посуды, криками и вызовами милиции. Так что и он не торопился из школы.

Как ни старались Кривовы укрыться от чужих глаз, скоро по двору поползли слухи. Когда же Юрка перешел в пятый класс, позор окончательно вылез наружу, как грязная рубашка из штанов.

Тетя Алена, уже превратившаяся в Кривиху, побито улыбаясь, побиралась у дверей гастронома, в котором больше не работала. А Кривой спал в подъезде, свесившись головой со ступенек. Всегда этажом ниже своей квартиры, до которой ему не хватало сил добраться. Соседки подкармливали Юрку, заранее жалея завтрашнего детдомовца или колониста.

У Герки тоже продолжался кавардак. Родители то разъезжались, то съезжались, то уез-

жали мириться на Байкал, оставляя сына одного в разоренной квартире, похожей на поле битвы мифических титанов. Герка брызгал вихры мамкиными духами и, давясь, курил отцовские папиросы: ему представлялось, что так он становится немного ближе к родителям.

За этим занятием его и застала железная леди микрорайона — инспекторша по делам несовершеннолетних Иванова, которую никто не знал по имени, и все, особенно дети, панически боялись. Накануне она нанесла угрожающий визит в соседний подъезд — к Кривовым.

В первый день зимних каникул, пришедшийся на католическое Рождество, Юрка оказался в гастрономе вместе с родителями. Он пришел за хлебом, а они — за бутылкой к празднику. В винный отдел, где когда-то сама покрикивала на бестолковых колдырей, Кривиха входить стеснялась, и они с Юркой топтались на крыльце, поджидая Кривого.

Стоять рядом с матерью Юрке было стыдно. Он отошел в сторону, уткнулся в праздничную витрину — и вдруг провалился в другой мир.

Это была всего лишь маленькая елка. Серебристые иголки из фольги нежно подраги-

вали от сквозняка, отбрасывая едва уловимые блики на серую вату, изображавшую снег. На одной из веток качался крошечный колокольчик, покрытый аляповатой позолотой. Юрке почудилось, что даже сквозь стекло он слышит его кроткий жалобный голос.

Он задохнулся от сокрушительного чувства, названия которому не знал. Ему почудилось, будто он бежит по волшебному лесу с серебряными деревьями. И изо всех сил старается в него поверить. Но горестный бубенчик плачет под самым сердцем, не давая забыть, что этому никогда не бывать...

За спиной виновато скрипнул снег, и в витрине отразилось лицо Кривихи.

— Елку хочешь? — в горле у нее булькнули близкие пьяные слезы. — Купим. Завтра купим.

Юрка зажмурился, сжался и — последним невероятным усилием — поверил.

— Такую же? — уточнил он, прячась в шарф от материнского перегара.

— Обещаю, — соврала Кривиха и, отвернувшись, неслышно заплакала.

Прошел день, два, прогремел ракетами и шампанским Новый год — а Кривиха про елку так и не вспомнила. Юрка, никогда ничего не

просивший у родителей, переступил через себя — и напомнил.

— Только и знает: дай да подай! — тут же, как ждал, раскричался Кривой. — Выпить нечего, а ему елку! Иди в лес, там их много!

Кривиха бессмысленно улыбалась, хлопала густо накрашенными ресницами и тыкала вилок мимом тарелки.

В Рождественский сочельник Кривовы послали сына в далекий круглосуточный ларек. Вернувшись, он обнаружил, что дверь закрыта изнутри на задвижку. Юрка звонил, стучал, кричал, кидал в окно снежками — бесполезно: родители спали. В замочную скважину доносился надрывный храп Кривого.

Сначала Юрка сидел в подъезде. Но когда на площадке стали собираться сердобольные соседки, костерившие «поганных алкашей» и наперебой зазывавшие его к себе, Юрка убежал.

«У Герки заночует», — решили старушки и разошлись по квартирам.

Но Герку на все каникулы забрала к себе тетка, а его родители выясняли отношения на турбазе далеко в горах.

Никто так и не узнал, где провел эту ночь, бывшую, как всегда на Рождество, звездной

и морозной, пятиклассник Юрка Кривов в демисезонном пальто с оторванными пуговицами.

Наутро Кривиха, сотрясаемая крупной дрожью, дежурила у подъезда, спрашивая всех, куда подевался Юрка, и по привычке стреляя мелочь. Потом на крыльцо осторожно выступил Кривой, и они, трогательно поддерживая друг друга на скользкой тропинке, отправились в соседний двор, к куму, у которого надеялись если не найти сына, то хотя бы похмелиться.

Чуть позже вернулся Юрка. Пошарил в чулане, на антресолях и, не обнаружив ничего, постучал к дяде Леше-инвалиду из квартиры напротив.

— Струмент нужен? Замок менять? — обрадовался тот. — Молодец! А то собутыльникам ключи раздали, проходную устроили...

— Не ваше дело! — огрызнулся Юрка.

Дяде Леше даже показалось, что мальчишка клацнул на него зубами, как волчонок. Он поспешно захлопнул дверь, бормоча:

— Песье семя! Оборотень!

До вечера Юрка ковырялся с замком. Дядя Леша злорадно наблюдал в глазок, что наглый малец делает «все не так». Однако тот спра-

вился, молча вернул «струмент» и заперся на все обороты.

Вскоре явились Кривовы. Они долго царапали дверь ключом и вполголоса переругивались, что не могут попасть в замок. Дядя Леша и оповещенная им баба Фая, каждый в своей квартире, приникли к глазкам, оставив ради такого зрелища один — футбольный матч, а другая — сериал.

Нетерпеливая баба Фая уже собиралась выйти и объяснить Кривовым, в чем дело, как Юрка глухо сказал из-за двери:

— И не пытайтесь — замок новый!

Баба Фая ахнула. Дядя Леша в волнении почесал живот.

— Так ты дома, стервец! — минуту подумав, сообразил Кривой. — Живо отпирай!

— Не открою, — ответил Юрка.

Кривой бушевал добрых полчаса. Даже баба Фая заскучала и отлучилась к телевизору. Дядя Леша еще раньше присел на полку для обуви и незаметно закемарил.

Когда баба Фая вернулась на свой наблюдательный пункт, переговоры вела уже Кривиха:

— Не позорь нас! Пусти!

— Сами себя опозорили! — доносилось из-за двери.

«Ну, времена! Как с родителями разговаривает! — возмутилась баба Фая. — От такой наглости кто угодно запьет!»

Кривовы, наконец, осознали, что домой им сегодня не попасть, плюнули и ушли ночевать к куму.

Вернувшись с каникул, Герка нутром почувал всеобщую взбудораженность. Разряды скандала пронизывали воздух, казалось, даже волосы от них электризовались и вставали дыбом, а ладони, намагнитившись, липли одна к другой. Герка безошибочно уловил, что в центре напряжения находится Юрка. И, еще не зная толком, что произошло, суеверно отшатнулся. На перемене, столкнувшись с Юркой, он уткнулся в прошлогоднюю стенгазету.

Он не мог объяснить, в чем дело. Это было инстинктивное нежелание соприкасаться с тем болезненным, безымянным и жутким, что теперь нес в себе бывший друг.

Герка не хотел ничего знать. Но против воли впитывал в себя подробности этой истории, о которой говорили на каждом углу.

— Че вчера было! — шепелявил долговязый Курицын из «Б» класса, живший в Юркином подъезде. — Кривой с мужиками приперся

дверь ломать! А он на них с топором! В натуре! Че, я баба врать-то?! Соседи растащили, а то бы зарубил, в натуре! А че б ему было? Скостили бы по малолетке!

— Никакой он не ребенок! — плакалась завучу длинная худая математичка, по прозвищу Бесконечность. — Расчетливое коварное существо! Я с ним по-хорошему: мол, Кривов, давай тебя мирить с родителями. А он: «Давайте! И когда они квартиру пропьют, вы меня к себе возьмете». От него вся инспекция в шоке! Потребовал, чтоб родителей прав лишили!

Все ждали, что Юрка сломается. И чем дольше этого не случалось, тем меньше ему сочувствовали. Кривиха с Кривым вызывали уже всеобщую симпатию.

Жили они, кочуя по многочисленным родственникам. Пили, жаловались на «изверга», снова пили — до тех пор пока хозяева, угорев от запоя, не выставляли их за порог. Тогда они шли дальше. И незаметно ушли так далеко от своего бывшего дома, что даже баба Фая, знавшая все про всех, потеряла их из виду.

Взрослые поначалу пытались Юрку вразумить. Взывали к совести, читали нотации, учили жить. Он выслушивал, криво улыбался и вежливо отвечал: «Не ваше дело».

Понемногу от него отступились даже самые рьяные воспитатели. Какое-то время люди еще ждали, что «этот» обратится к ним за помощью — и уж тогда они ему покажут. Но Юрка упрямо делал все сам. К концу учебного года его просто перестали замечать.

Финансовый вопрос пятиклассник Кривов решил, сдав вторую комнату вечному студенту Алексу. Квартирант был тихий: днем спал, а ночами читал Рериха, Библию, «Майн камф» и Кастанеду. В институт он ходил дважды в год: получить обратно аттестат и вновь подать документы. Было ему уже лет тридцать. Все, почерпнутое в ночных бдениях, Алекс выливал на Юрку, совершенно не считаясь с его возрастом.

Алекс перебивался редкими переводами с пяти языков, включая идиш. Этого едва хватало, чтобы заплатить за комнату. Юрка покупал на все деньги макароны и пакетные супы, которыми они вдвоем и питались до следующего случая.

Иногда Алекс исчезал на несколько дней и возвращался с валютой, банановым ликером и шоколадными конфетами. Его бывшие одноклассники промышляли мелким бандитизмом и иногда — из сострадания — брали бесполез-

ного Алекса с собой «в дело»: стоять на стреме вдалеке от основных событий.

Получая паспорт, Юрка взял себе новую фамилию: «Юрьев», образовав ее от собственного имени. А отчество изменил на «Алексеевич» — в честь вечного студента Алекса.

Тогда же они неожиданно разговорились и проговорили несколько часов подряд с Геркой, который к тому времени отпустил волосы, вырядился в старую шинель и переименовал себя в Егора.

В начале их новой дружбы Егора кидало в жар, когда он сталкивался взглядом с Юрьевым. Но скоро жгучая недосказанность утихла.

Поэтому неприятный разговор застал его врасплох. Это произошло зимой, когда Егор косил от армии в психушке. Юрьев, заглянувший к нему, собирался уходить, а Егор, скупавший от однообразного бреда соседей, упрашивал остаться. Тут-то Юрьев и сказал, что ему нужно еще успеть в женское отделение.

— Тебе там кто-то приглянулся? — гоготнул Егор, учившийся бегать циничным.

— Мать у меня там, — поморщился Юрьев.

Егор закашлялся, заметался, глупо захолопал глазами.

— Эээ... Что же ты молчал?

— Не думал, что тебе интересно.

Егор чувствовал, как у него пылают уши.

— Что с ней? — кое-как выдавил он, ненавидя себя, а еще больше Юрьева.

— Белая горячка.

— А ты?..

— Что я? Хожу к ней, как видишь.

— Но ты же... Вы же... — отчаянно замаялся Егор. — Так вот — как же?..

— Ах, ты об этом. Так она меня не узнаёт. Каждый раз рассказывает притчу о бессердечном сыне.

— А ты?

— Слушаю. Утешаю. Она говорит: «Ты не такой, ты добрый».

Они тяжело замолчали. У Егора на языке вертелся вопрос, но он никак не мог решиться.

— Давай, спроси, — тихо приказал Юрьев.

Припертый к стенке, Егор выпалил:

— Неужели тебе не было их жалко?

— Было, — нехорошо усмехнулся Юрьев. — Только моя жалость им бы уже не помогла.

— То есть падающего толкни? — осмелел Егор.

— Дурак! — наконец сорвался Юрьев. — Начитавшийся дурацких книжек! Вам всем было бы спокойнее, если б я попал в детдом, прирезал кого-нибудь за побрякушку и в двад-

цать лет сдох на нарах от туберкулеза! Вы этого от меня ждали!

— Ну, зачем ты, — промямлил Егор.

— А в остальном все было бы так же, — не слышал Юрьев. — Мать бы допилась до чертей, папаша получил отверткой в горло. Изменить этот ход вещей могло только что-то чрезвычайное, из ряда вон. Например, малолетний сын выгоняет из дома. Достаточно сильное впечатление, чтобы очнуться. Но их уже не пробил.

— Неужели...

— Вам хочется знать — жалею ли я, рассказываюсь ли в содеянном? Нет! Я жалею только о том, что не сделал этого раньше!

— Неужели ты такое думал — тогда?

— Не ваше дело.

Юрьев ушел, не прощаясь. Сделал несколько кругов по больничному парку. На березах скандалили взбудораженные оттепелью галки. Мокрый снег покорно хлюпал под ногами.

— Вот тебе и рождественские морозы! — посетовала знакомая бабушка-санитарка.

Юрьева передернуло. Рождество он не переносил с тех самых пор. И всегда старался забыть об этом празднике, который, как на зло, каждый год отмечали с нарастающим разма-

хом. Но тут что-то другое, непривычное, откликнулось в нем на ненавистное слово.

Через полчаса Юрьев поставил посреди палаты большую искусственную елку. Увидев ее, Алена Кривова — осунувшаяся, кроткая и обо всем забывшая — ахнула и восторженно открыла рот.

— Вот, — Юрьев взял ее за руку и подвел поближе. — С Рождеством.

Алена робко тронула серебристые иголки. Полутемная комната наполнилась дрожащими сказочными бликами. Неуловимое воспоминание вспыхнуло среди них — и кольнуло в сердце.

— Что? Что? — заволновалась она, пытаясь ухватить проблеск.

Но туман снова сгустился. Беспомощно обернувшись, Алена увидела Юрьева и расплылась в улыбке.

— Хороший, добрый! — привычно залопотала она и неожиданно добавила: — Давай лучше ты будешь мне сыном?

— Давай, — согласился Юрьев и тоже потрогал елку. — Буду.

ТИХИЙ УЖАС

В прошлом году весной, а может быть, и раньше — никто не помнил — перестал ходить трамвай в Пролетарскую Свободу. Древняя дребезжащая «двойка», переползавшая Передовой мост, теперь разворачивалась на том берегу в депо, и район потерял последнюю связь с городом, частью которого считался.

Обитатели четырех черных барачков, подпиравших забор завода, этого события поначалу даже не заметили. Но вслед за трамваем из Пролетарской Свободы пропали еще и рельсы.

Бывший рабочий Лаптев, имевший обыкновение добираться домой ползком, однажды не обнаружил на своем пути привычной преграды. Только две желтоватые полосы уходили за горизонт. Лаптев ощупал пыль около головы и от удивления слегка очнулся.

Через неделю соседи Лаптева, разбуженные непонятным известием, проследовали по маршруту «двойки» до самого моста и лично удостоверились в исчезновении путей. Большого впечатления это, однако, не произвело: через реку давно никто не ездил, за ненадобностью. На площади Труда, где некогда лежало трамвайное кольцо, работал универсальный мага-

зин «Рассвет», рядом на почте получали пенсию; других дел в Пролетарской Свободе, вроде как, не случилось.

Старик Панкратов в выгоревшей полосатой кепке задержался на месте происшествия дольше всех. Он ковырял концом лыжной палки прогорклые следы шпал, поводил носом и пристально рассматривал чахлые одуванчики на обочине, будто в чем-то их подозревал.

— Проводя исследования грунта, — кряхтел старик, имевший привычку докладывать окружающей среде о своих занятиях.

С тех пор, как на крыльце магазина «Рассвет» его уронил бывший рабочий Лаптев, из ушибленной головы старика Панкратова вылетела вся грамматика, кроме деепричастных оборотов.

— Изучая погодные условия, — это старик разглядывал в лупу термометр за кухонным стеклом.

— Принимая воздушные ванны, — выходил на прогулку во двор.

— Совершая закупку продовольствия, — складывал в авоську кирпич серого хлеба в магазине «Рассвет».

Старик Панкратов жил на свете так долго, что мог бы помнить те времена, когда Проле-

тарская Свобода называлась Горшечной Слободой, а вместо четырех скученных барачков карабкались по берегу вразнобой отдельные избы.

Однако давным-давно, еще до закрытия кирпичного завода, на котором проработал всю жизнь, старик Панкратов впал в стыдливое недоумение по поводу своего долголетия. И чтобы не досаждать соседям, перестал предаваться воспоминаниям не только вслух, но и про себя.

Вскоре после пропажи рельсов старик Панкратов вышел погулять, сделал несколько шагов по солнцепеку и вдруг ощутил в своей привычной слабости долгожданную окончательность. Черная стена барака плавно поплыла в небо, он упал в утыканную окурками песочницу, в которой уже много лет не водилось детей.

Мимо из магазина шли недобрый человек Кадык и потомственный безработный Коля Корова.

— Что, Домкратов, — осклабился Кадык, не упускавший случая над кем-нибудь поглумиться, — впадая в детство, играя в песочек?

— Это он загорает, — вступился белобрысый Корова. — Как на пляже, да, дед?

Старик Панкратов с трудом сфокусировал взгляд на двух сутулых фигурах и неожиданно четко выговорил:

— Умираю.

Все беспризорные деепричастия, когда-либо выпущенные им в неподвижный воздух Пролетарской Свободы, зацепились за это главное слово, как вагоны за паровоз, и фраза длиною в несколько лет, наконец, завершилась.

От поминок первым отошел недобрый человек Кадык. Свалив с себя тяжелую, как бревно, руку бывшего рабочего Лаптева, храпевшего рядом на полу, он на четвереньках выбрался в коридор, погрузил лицо в ведро с водой и всосал почти половину.

Потом, по-прежнему не решаясь принять вертикальное положение, спустился по деревянной лестнице вниз и на пороге уткнулся лбом в худые женские колени, прикрытые трепетной заграничной тканью. Таких тряпок, а тем более таких ног в Пролетарской Свободе отродясь не бывало.

Чтобы отогнать наваждение, Кадык осторожно потряс головой — и взвыл от боли. Когда чугунные тиски, сдавившие его бугристый череп, немного ослабили хватку, Кадык приоткрыл левый глаз и увидел, что ноги никуда не делись. Более того, рядом с ними нарисовались еще одни, поменьше, в ссадинах и комариных расчесах.

— Мама, — лопнул вверху нестерпимо звонкий голос, и чугунные челюсти вновь сжались. — Это человек-собака?

— Простите, — колыхнулась перед носом нездешняя юбка. — Где тут улица Стачек?

— Везде, — выдавил Кадык и пополз прочь, не в силах продолжать общение.

Маша с самого начала не хотела сюда ехать. Тимку оставить не с кем, придется тащить с собой в чужой город, где не от кого ждать помощи и совета. Потом — хождение по конторам, бумажные муки, заранее наводившие ужас. Кроме того, робкая Маша до слез боялась, что ей придется отстаивать свои птичьи права перед ушлыми соседями, уже наверняка занявшими освободившуюся жилплощадь.

Но девчонки на работе, более укорененные в жизни, чем она, все-таки убедили потратить отпуск на то, чтобы оформить в собственность комнату неведомого Кирилла Михайловича Панкратова, о существовании которого она узнала из извещения о наследстве.

Столкнувшись с четвероногим человеком, Маша так перепугалась, что решила отложить поиск обиталища Панкратова и вернуться через мост в город, где ездили трамваи, носи-

лись на самокатах дети, и люди, по крайней мере, передвигались на своих двоих.

Тимка сначала занял: тащиться по жаре обратно было неохота. Но оглядев пустой двор, на макушке которого торчала скамейка со сломанной спинкой, насторожился. Тревога, захлестнувшая Машу, передалась и ему.

Они почти побежали по вмятинам от шпал вдоль заводского забора. Сверху на них глаза ли страшные пыльные буквы, похожие на застывшие гримасы.

— Мам, что там такое? — крикнул Тимка, еще не умевший читать.

— Пролетарская Свобода, — не оборачиваясь, сказала Маша.

В городе, в сквере 60-летия СССР, построенном, как сообщала табличка при входе, на месте бывшего оврага Засора, Маша немного пришла в себя. Невнимательно накормила сына мороженым и, оставив на детской площадке, отправилась в паспортный стол.

Невидимая женщина, сидевшая за глухой стеной — в крошечное окошко для приема граждан виднелся только монументальный бюст — долго крутила в руках Машины документы.

— И что же вы, — наконец, спросила она с сомнением, — жить там собираетесь?

— Нет-нет, — поспешно откликнулась Маша. — Оформлю и продам.

— На Пролетарке? Да кто ж у вас купит?! Туда даже милиция не заглядывает!.. В любом случае, это не ко мне, а к нотариусу.

Первым порывом Маши было уехать на ближайшем поезде, бросив ненужное ей наследство. Но в сквере на нее налетел взбудораженный Тимка:

— Мам, ты знаешь, почему туда ничего не ходит? Там люди пропадают! Уедут — и больше их никто не видел! Вот и запретили трамвай! Даже рельсы выдрали с корнем!

— Успел! Наслушался всяких глупостей! — рассердилась Маша и в который раз горько подумала, что не сможет воспитать мужчину, если сама будет бояться всего на свете.

Она взяла сына за руку и твердо пошла в Пролетарскую Свободу.

«Мамочки!» — кричало все у нее внутри, и ладонь, сжимавшая Тимкины пальцы, противно потела.

Вечером в Пролетарской Свободе было несколько многолюднее, чем утром. У магазина «Рассвет» — голова к голове — лежали бывший рабочий Лаптев и потомственный безработный Коля Корова.

«Нет, Рикардо! Нет! Умоляю тебя! — лете-
ло из всех четырех баракон. — Антонио ни в
чем не виноват!»

Посреди двора на одном конце сломанной
скамейки сидела угрюмая девочка, примерно
Тимкиных лет, и смотрела в землю.

— Милая, где тут улица Стачек? — обре-
ченно спросила Маша.

Девочка не шелохнулась. Зато из окна на
первом этаже высунулась голова в бигуди и
неприязненно каркнула:

— Эй, фрау! Че надо?

Маша подошла поближе и стала стоически
объяснять про наследство. Голова, что-то не-
прерывно жевавшая, глядела все насмешли-
вей.

— Ты только послушай, что за виртуозы
выписывает! — хохотнула она в глубину бара-
ка. — Ни бельмеса не понимаю! Какого-то
Кирил Михалыча приплела! Это кто хоть?

Недобрый человек Кадык тяжело облоко-
тился на круп кассирши Люськи, нехотя вы-
глянул во двор и увидел незнакомую тощую
девку с мальчишкой. Переведя взгляд вниз,
он опознал свое утреннее видение и криво
ухмыльнулся:

— Деда Домкрата родственнички пожало-
вали. Больше-то пока никто не помер, — Ка-

дык размахнулся и отвесил Люське увесистый шлепок, будто хотел катапультировать ее за окно. — Че гляделки разворотила, дура? Проводи гостей!

Маша испуганно заперлась на хлипкую защелку и огляделась. В комнате старика Панкратова не осталось ничего, кроме матраса с подозрительными желтыми разводами и гнилой луковицы в банке на подоконнике. Даже выцветший календарь с «Незнакомкой» Крамского вчера унесла к себе хозяйственная жена Лаптева, обширная почтальонша Галина. Только светлый прямоугольник с четырьмя ржавыми следами кнопок остался на обоях.

— Что же делать? — прошептала Маша, радуясь, что Тимка увлекся ковырянием трещины в стене и не видит ее малодушных слез.

Тут дверь сотряслась, и задвижка отлетела на середину комнаты. Маша схватилась за сына.

— Ну? Так и будете сидеть голодные? — воинственно спросила Галина, загородившая собой весь дверной проем. — Марш на кухню!

Маша не посмела послушаться, хотя есть ей совсем не хотелось. За столом, покрытым изрезанной клеенкой, сидел бывший рабочий

Лаптев и увлеченно уплетал нечто из большой кастрюли с цветочком.

— Навалился, боров! — прикрикнула на него почтальонша. — Парнишке-то хоть оставь, вона, какой малохолдный.

— Вкуснотища! — подмигнул Лаптев, вываливая на тарелку перед Тимкой дымящуюся массу. — Ум отъешь!

— Что это? — подозрительно спросила Маша.

— Мозги! — облизнулся бывший рабочий.

Бедного Тимку долго рвало в туалете. Маша держала его над черной дырой унитаза и плакала, уже не скрываясь. Потом он заснул у нее на руках, на полпути к комнате старика Панкратова.

— Какие мы нежные! — фыркнула Галина, ждавшая их на матрасе. — Я вам тут белье застелила.

— Спасибо, — еле слышно проговорила Маша, опуская сына на подушку.

Тимке снился кошмарный сон, где люди-собаки смачно ели друг у друга мозг прямо из черепа. Он убегал на подгибающихся ногах, кричал без голоса, но не мог проснуться, будто что-то тяжелое наваливалось сверху, мешая открыть глаза.

Около полуночи дверь в комнату старика Панкратова со всхлипом отворилась. Тимка дернулся и почти вынырнул из вязкой жути, но тут собака, увешенная бигуди, вцепилась ему в ногу и втащила обратно в сон. Маша, не смыкавшая глаз, вжалась в стену. На пороге кто-то качался, шумно дыша перегаром.

— Ну-ка, выходи. Потолкуем.

По сдавленному шепоту Маша узнала четвероногого человека. Но послушно встала, шагнула навстречу и прикрыла за спиной дверь, тупо думая: «Только бы не проснулся».

Утром Тимку разбудила ворона. Она расхаживала по жестяному подоконнику с той стороны, скребла когтями и надсадно кричала. Маши в комнате не было. Тимка встал, порадовался, что спал не раздеваясь и теперь не надо натягивать одежду, и отправился на поиски.

С опаской заглянул на кухню, даже в туалет, высунулся на лестницу — и никого не встретил. Тогда, набравшись духу, потянул другую, незнакомую дверь — и отпрянул: прямо перед ним сидел, расставив голые слоновьи ноги, давешний пожиратель мозга и громко икал. Тимка ойкнул и опрометью бросился на улицу.





Двор был удручающе пуст. Только в ветвях сутулой березы трепыхались два пакета. Тимка огляделся и вдруг увидел вокруг себя тот самый *тихий ужас*, о котором так часто твердила Маша. Он всегда поправлял ее: не тихий, а дикий, разве может ужас быть тихим? Ужас, он ведь — у-у-у-у какой!

И вот тут, в тени четырех черных барачков, Тимка внезапно ощутил: может. И это гораздо хуже, чем дикий. Но что страшнее всего, двор, где шевелился *тихий ужас*, был при этом вполне обычным, разве немного слишком мусорным и скучным.

«Куда же она запропастилась? Маша-растеряша!» — подумал он, пытаясь досадой заглушить сосущую тревогу.

Мимо пробежал пес, на длинной шерсти гроздьями висели тополиные почки. Пыль вилась волчком, пытаясь оторвать от земли сплюснутый окурок. Из подъезда пахло чем-то мясным, и Тимку немедленно замутило. На ватных, как во сне, ногах он доковылял до сломанной скамейки и присел на краешек.

Липкая дремота, похожая на манную кашу, которой их пичкали в детском саду, залила его мысли, залепила душу. Тимка клевал носом и даже не мог бояться.

«Наверное, когда я спал, — вяло думал он, — они сожрали мой мозг. И теперь я тоже превращусь в собаку. А Маша? Может, это была она — в тополиных почках?»

Хлопнула дверь. Тимка с трудом расцепил веки. Почтальонша волокла за руку вчерашнюю немую, у которой они спрашивали дорогу.

— На вот тебе кавалера, гуляй с ним, — Галина водрузила девчонку на другой край лавки.

— Как ее зовут? — сонно поинтересовался Тимка.

— Никак! Гадюка и есть гадюка!

— Такого имени не бывает! — запротестовал он.

— А это ты слышал? — сдавив двумя пальцами щеки девочки, Галина рывком подняла к себе ее лицо и насильно заглянула в отсутствующие глаза.

Девочка дернулась и издала страшный гортанный шип. Она будто кричала без голоса, как в кошмаре.

— Ладно, играйте, — Галина отпустила девочку и медленно поплыла на почту.

Тимка глядел на колыхание ее широкой спины, и на глаза снова наплывала дремота. Чтобы не заснуть, он соскочил с лавки и отпра-

вился гулять. Попытался спуститься к реке, но наткнулся сначала на гору мусора, а чуть поодаль — на чьи-то грязные пятки, торчавшие из стоптанных ботинок. В кусте сирени, куда тянулись поросшие рыжей шерстью ноги, раздавалось сонное бормотание.

Тимка вернулся во двор. Девочка-змея все так же сидела на лавке и смотрела в землю.

— Пойдем, — потянул он ее за руку. — Вдвоем как-то лучше.

Не упираясь, она спустилась и пошла следом. Но стоило Тимке, ненавидевшему ходить парами, отпустить ее, остановилась посреди двора.

— Ну что ж. Придется тебя таскать за собой повсюду, — вздохнул Тимка и внезапной острой молнией вспомнил Машу, которая тоже так говорила, когда он наотрез отказывался идти в сад.

Он побежал вдоль заводской стены, волоча за собой безропотное создание и понемногу привыкая к мысли, что Маша больше не вернется и он теперь будет в этом страшном мире один.

Неожиданно в заборе обнаружилась дырка. Тимка забрался в нее, втащил свою обузу, как иногда называла его Маша, и перевел дыхание.

Здесь почему-то *тихий ужас* кончался. Переплетались ветвями высоченные кусты, качалась крапива выше него ростом, громоздились таинственные железяки.

В глубине джунглей, разросшихся на территории бывшего кирпичного завода «Пролетарская Свобода», они наткнулись на странное сооружение, не похожее на остальные постройки. Стены его закруглялись кверху, узкие окна были закрыты ставнями.

Тимка довольно быстро нашел подходящий лаз, посадил девочку-змею, которую про себя уже окрестил Таней в честь своей детсадовской любви, и сам забрался следом. Внутри странного дома стоял земляной дух — сырой и холодный. На стенах угадывались полустертые рисунки, изображавшие бородатых людей в длинных ночных рубашках. Сводчатый потолок плыл головокружительно высоко, почти как небо. Для большего сходства кто-то нарисовал на нем облака и белых птиц с человеческими лицами. Там в узком солнечном луче порхала целая стая бабочек, и все вокруг было наполнено шумом их крыльев.

Тимка вернулся к Тане, которую оставил в коридоре. Та стояла лицом к стене. Он хотел повести ее дальше, но она вдруг зашипела.

— Гадюка, — обиделся Тимка. — На меня-то зачем? Я ж не взрослый.

Он погулял еще, поймал бабочку на окне и вернулся к Тане.

— Там за углом, — съехидничал он, — такая же, как ты, нарисована, да еще с крыльями и перепонками на лапах!

Девочка-змея не шелохнулась. Тимка от скуки стал разглядывать картинку на Таниной стене. Там был нарисован молодой взрослый в синем до полу платье и с книгой в руках. Лицо его почему-то казалось знакомым.

— Это, наверное, самый главный, — рассудил Тимка, — видишь, они на него все смотрят.

Когда они выбрались наружу, солнце стояло высоко-высоко. И Тимка вдруг понял, что все обойдется. Он помчался во двор, волоча за собой Таню. Прошлогодние листья шуршали у нее под сандалиями, и ему казалось, что сзади, действительно, вьется змея.

Еще издали он увидел Машу. Она сидела на сломанной скамейке и редела в три ручья. Рядом горой громоздилась почтальонша.

— Где вы были?! — хором закричали они обе.

— На заводе, — важно сообщил Тимка. — Там люди в ночных рубашках.

— Ну что мне с ним делать?! — засмеялась Маша сквозь слезы.

— Пороть, — лаконично ответила Галина и потащила девочку-змею за собой к бараку.

— Ну а ты где была? — сурово спросил Тимка.

— За билетами ходила, — всхлипнула Маша. — Домой сегодня поедем.

СМЕРТЬ ВЕСНОЙ

Она пришла умирать на пригретый солнцем пустырь ровно посреди деревни. Вокруг еще лежал ноздреватый снег, покрытый кружевной коркой, но здесь земля едва заметно поднималась к небу, образуя покаты́й холм, который уже оттаял со всех сторон. Прошлогонья трава, перезимовавшая в сугробах, высохла и напилалась новым весенним теплом. Кое-где сквозь полуистлевшие стебли пробивалась свежая зелень, похожая на нежную шерстку новорожденных щенят. А на южном склоне — проклюнулись первые желторотые цветки.

Понуждаемая привычкой, она обнюхала круглые мордочки первоцветов, но внутри ничто не отозвалось на этот зов. Она постояла, прислушиваясь к непривычной пустоте своего нутра, которое больше не прошивали нити живых реакций. Потом покачнулась и осторожно опустилась на траву.

Солнце припекало ее черный загривок, изъеденный многолетней паршой, но весенний жар не мог пробиться в стылую плоть, оставался снаружи. Жизнь будто отступила на шаг и выплюнула ее из себя — в обреченное одиночество посреди деревни.

Правда, оставались звуки. Их было множество: чиркали по воздуху птицы, всхлипывали качели, кто-то в огороде скрежетал лопатой о снег. Гудела за лесом полуденная электричка, пробирались по канавам мутные ручьи, недалеко от корней мать-и-мачехи сонными челюстями перетирал землю оживший червяк.

Она старательно поводила ушами, но звуки падали в нее зря. Даже кошачий вопль, пронзивший ветви прозрачной березы, не вызвал должного любопытства, только качнулось где-то на самом дне эхо уже ненужного воспоминания.

Она завалилась на бок и вытянулась в сторону солнца. Лимонная бабочка присела на впалый бок, сложила чуткие крылья, но тут ледяная судорога продернулась под шкурой — от холки до хвоста — и лимонница перелетела на теплый деревянный забор.

Кроша галошами хрупкий лед, по дорожке шла добрая Мила, торговавшая овощами в ларьке на станции. Рядом деловито бежала белая с черными пятнами дворняга, прибывшая к ней несколько лет назад. Мила остановилась недалеко от холма и заговорила. Ласковые интонации человеческого голоса вернули на прежнее место почти исчезнувший мир.

Она открыла глаза и даже приподняла голову.

Не переставая говорить, Мила подошла совсем близко, зашуршала пакетом и протянула нарезанную ломтиками вареную колбасу. Приближение человека пробудило последний еще не угасший инстинкт. Она рывком поднялась на слабые лапы и сделала несколько опасных шагов в сторону.

— Не бойся, жучка, покушай, — уговаривала Мила, мягко отстраняя от пакета морду своей питомицы. — Не лезь ты, видишь, она болеет.

Мила положила еду и немного отошла.

Чтобы порадовать обратившегося к ней человека, она нагнулась и вяло понюхала землю вокруг пакета. Однако, что делать дальше, так и не вспомнила. И обратила к Миле недоуменный тоскующий взгляд, будто спрашивая мудрое, столь превосходящее ее существо:

«Что это страшное и чужое внутри? Как мне быть с этим? Можешь ли ты помочь?»

— Кушай, бедненькая, кушай, я тебя не трону, — говорила Мила, кивая на колбасу.

Послушно и отстраненно она взяла зубами розовый склизкий кусок и судорожно проглотила.

— Вот и умница, — похвалила Мила и облегченно захрустела снегом.

С последней надеждой она смотрела вслед удалявшейся доброй женщине, удерживая в глотке непрожеванную колбасу — как людской ответ на свое мучительное недоумение.

Когда Мила завернула за угол магазина, ее вывернуло наизнанку. Потом еще раз и еще. Густая слюна свешивалась из пасти, цеплялась за полые стебли и повисала в воздухе между ними. Когда рвотные позывы затихли, она обессиленно привалилась к теплomu боку земли.

Пьяница Валерка разочарованно вышел из магазина, где ему давно не верили в долг, послал в открытую дверь парочку бесхитростных матюгов и побрел восвояси, косолапо загребая ледяное крошево. Солнце слепило Валерку, он неприязненно морщился и даже грозил небу грязным кулаком, украшенным синим вензелем «ДМБ-86».

Дойдя до пригорка, Валерка вывернул карманы, и по густому весеннему ветру поплыли лодочки подсолнечной шелухи. Человек громко вздохнул и присел рядом.

У нее едва хватило сил, чтобы двинуть куцым хвостом.

— Что, миляга? Подыхаешь, как собака? — сострил Валерка и рассмеялся.

Но смех моментально перешел в надсадный кашель. Валерка долго отплевывался, вытирая рукавом сизые губы. Настроение его изменилось. Когда, отдышавшись, он снова нагнулся к ней, на его жестких белобрысых ресницах висела слеза.

— Вот и я, — прохрипел он, — откинусь у всех на виду. И дела никому не будет. Так-то. Собачья моя душа.

Она посмотрела в мутные глаза Валерки тем же отчаянным вопрошающим взглядом, каким провожала добрую Милу.

— Тошно помирать? — догадался Валерка. — Ничего не попишешь. Все там будем.

Расчувствовавшись, он притянул к себе ее безвольную голову и смачно поцеловал в крутой лоб.

— Валерий, у вас дома еда осталась? — спросил незаметно подошедший церковный староста Алеша.

Алеше в начале Поста исполнилось двадцать. Голос у него был едва окрепший, неуверенный. И Алеша изо всех сил старался придать ему должную внушительность.

— Еда-то? — воспрянул Валерка, поднимаясь с пригорка и вытягиваясь по струнке. — Никак нет!

— Пойдемте, куплю, — Алеша двинулся к магазину.

- Командир, мне бы...
- Не может быть и речи!

Едва Валерка с Алешей поднялись по стесанным ступенькам магазина — налетел молодой вихрастый пес. Первым делом он попытался по-весеннему на нее взобраться, но, почуввав неладное, отпрянул, сделал несколько кругов по пригорку, обнаружил колбасу и в один присест слопал. Обернулся в поисках новых впечатлений и понесся по тонкому следу трясогузки, разбрызгивая талую грязь. Пустой пакет из-под колбасы прошуршал мимо, задел ее сухой нос и взмыл в синее-синее небо.

Пунктирная нить, связующая ее с миром, не успела окончательно прерваться, как на улице появились дети. С грохотом пронесся на слишком большом велосипеде мальчишка в распахнутой куртке. Две толстые близняшки — Верка и Варька — протащили мимо ревущего брата Вовку.

— Смотри, собачка плачет, умирает, — проворковала Верка и дернула Вовку за правую руку.

— Не смотри! А то сам помрешь! — в суевверном ужасе закричала Варька и рванула брата в другую сторону.

Вовка перестал орать, заинтересованно обернулся и изо всех сил уперся ногами в скользкую жижу. Однако сестры без труда подхватили его и умчали к скрипучим ржавым качелям.

Потом подбежала отличница Лида, всегда гулявшая со старухами, так как бабушка не пускала ее к ровесникам, которые могли «научить плохому». Лида присела на корточки и протянула руку.

— Не трогай! — раздался с завалинки истошный крик. — У нее чумка!

— Надо ветеринара, — рассудительно сказала Лида, оборачиваясь к старухам.

— Да кто ж тебе за ним поедет? По такой-то хляби? — заголосили они на разные лады.

Тогда Лида сбегала домой и принесла, наполовину расплескав по дороге, блюдце вчерашних щей.

Из уважения к человеку, она сделала попытку встать, но тут же завалилась обратно.

— Ой, — шепнула девочка. — Что это?

— Лида! — прокричала бабушка. — Иди домой, уже поздно!

Лида с досадой глянула на еще высокое солнце и скорчила страшную рожу, которую никто не увидел. Потом повернулась к завалинке благообразным лицом отличницы и послушно побрела прочь.

Это последнее усилие окончательно лишило ее сил. Прильнув к сырой земле, чей животворный дух уже не бередил ноздри, она покорилась тому, что происходило с ней. И чему не мог помешать никто: ни люди, ни дети, ни даже сама весна.

Планета дрогнула и плавно понесла ее вверх — в неудержимо раскручивающийся смерч космоса.

Ночью все деревенские собаки устроили многоголосый плач. Скулила, встав лапами на подоконник, черно-белая дворняжка Милы. Выли, громыхая цепью, суровые сторожевые псы. Попискивал в кукольной колыбели туго спеленатый двойняшками щенок. И даже молодой нахал, слопавший колбасу, задира лк небу вихрастую морду и изливал душу, полную чернильной, необъятной тоски.

Наутро пятиклассники, бежавшие в школу, окружили покрытый изморосью труп.

— Тухлая собачатина! — загоготали они, пихая друг друга. — Дохлая псина! Кто тронет — тот пожизненный сифа!

Подошел и робко остановился рядом единственный в деревне первоклассник с огромным ранцем за спиной.

— Слышь, — снисходительно бросили ему через плечо. — Если расковыряешь ей палкой брюхо — в ту же секунду повзрослеешь! Честное слово!

ЧУВСТВО ГОРЕЧИ

Мой муж — Ветер

Чувство горечи жило во мне всегда. Сначала, когда для него не было еще никаких внешних предлогов, оно томилось в безъязыких областях сознания, накатывая иногда необъяснимой грустью.

Помню пустой двор — без людей, без собак, без цвета (то ли поздняя осень, то ли ранняя весна). Я стою на качелях, надрывно скрипящих от малейшего движения. В щель между домов втягивается промозглый ветер. И мне так глубоко и бесконечно печально, что я даже не могу качаться. Просто стою, прижавшись лбом к облезлому поручню, и страдаю.

Вдруг мне на ум приходит строчка из песни, услышанной на днях по радио: «с ветром в поле когда-то повенчана». И неожиданно вся моя немая тоска обретает очертания и определенность, отливаясь в эти несколько слов. Я повторяю их, пьянея и обжигаясь. И горечь уже не лежит на душе неподвижным грузом, а изливается из меня бурно и безудержно, как водопад.

Чужие взрослые слова, которые я, конечно, понимаю по-своему: сказочно и буквально, миг объясняют мне мою печаль. Это про меня,

это я с ветром повенчана, потому-то мне так горестно и несчастно. Ведь я уже никогда не буду с людьми, мой муж — Ветер: огромное сильное чудище, как в «Аленьком цветочке», только невидимое.

И он унесет меня в далекие пустые края, где мы будем вечно летать под сизым небом, бездомные, безутешные и холодные. И он, конечно, предложит мне остаться на Земле, но я откажусь — не могу же я его бросить. Ведь, кроме меня, у него никого нет, и только я знаю, что внутри он добрый, одинокий и очень нежный.

И захлебываясь пафосом отречения от мира и своей добровольной обреченности, я взлетаю все выше на истошных качелях и уже почти радостно кричу в ледяной ветер о нашей с ним общей судьбе.

Возможно, это был мой первый опыт поэзии: переливания собственной безымянной грусти — в сосуды кем-то придуманных слов. Тем более, как потом выяснилось, это была не просто эстрадная песенка: стихи-то написал сам Заболоцкий.

Отверженные

Подспудная горечь толкала меня в области, которые все нормальные дети обходят сторо-

ной. Хотя я, с полутора лет отданная в ясли, впитала в себя все предрассудки и суеверия детского мира и непреложно знала, что несчастья — это стыдно и заразно, и от них надо держаться подальше.

Но горечь неумолимо вела меня в запретные края отверженности и боли. Будто, томясь одиночеством, она искала встречи со своими сестрами, жившими в других людях. Мои мысли упорно убегали по тропинкам, указанным горечью, и я все чаще отпускала их туда. Тем более, я уже угадала счастливое свойство мечты и мысли: их никто не видит, а значит, в них дозволено жить без оглядки, как хочется, а не как надо.

Помню, в садике мы рисовали. Посреди стола лежала грудa фломастеров. И время от времени кто-нибудь произносил: «У кого краснуха?» Или: «Отдавай желтуху». Почему-то говорить просто «красный» и «желтый» нам было скучно, и мы называли фломастеры именами болезней.

И вдруг мне представился некий человек, больной желтухой, краснухой, а также уже знакомыми мне корью и ветрянкой. Будто он сидит в углу нашей группы, и с ним никто не хочет дружить, боясь заразиться.

Мой фломастер замер, не доведя до конца пышную юбку очередной принцессы, и я ста-

ла, сладко обжигаясь сердцем, представлять себе одиночество и горе этого больного всеми болезнями человека. Дальше мне мечталось, как во время тихого часа, я тайком прихожу к нему в угол и утешаю. Эта фантазия так меня захватила, что я жила в ней несколько дней, и даже спать не могла, так перехватывало дух от жалости и необъяснимого восторга.

Потом случилось реальное событие, затмившее выдуманного болезного человека. Темным зимним вечером мы с мамой возвращались домой. Прямо в сугробе под фонарем лежала, ворочаясь и ворча, страшная черная баба. Рядом с ней стоял мальчик, мой ровесник, тянул ее за полу распахнутого пальто и повторял: «Мама, ну, пойдем! Вставай, мама!»

Тут моя собственная мама так ускорила шаг, что мои ноги почти перестали касаться земли, и мальчик с жуткой мычащей бабой пролетели мимо в малую долю секунды. Но этого мгновения хватило, чтобы картина, выхваченная из мрака тщедушным фонарем, неизгладимо впечаталась в сердце.

С тех пор героем моих горестных мечтаний стал этот незнакомый мальчик. День за днем я спасала его, уводила прочь от страшной бабы,

делилась печеньем и аскорбинкой и даже старалась сидеть только на половине стула, чтоб и ему хватило места.

Но потом незнакомого мальчика вытеснила знакомая девочка, моя детсадовская подружка Алла, жившая в соседнем дворе, в пьяной коммуналке, заходить куда без лишней надобности мы обе избегали.

Алла научила меня увлекательной игре: просить деньги у прохожих. Это оказалось очень просто. Подходишь и говоришь: «Тетя, дай копейку!» И все дают. Помню, я все удивлялась, как же мне самой такое не пришло в голову.

Обычно мы набирали три копейки, покупали бублик и, сидя на бордюре, половину скармливали голубям, другую съедали сами. Только потом, спустя годы и годы, я догадалась, что для Аллы это была вовсе не игра, а повседневный труд выживания.

Несмотря на мою недогадливость, я безошибочно улавливала исходящий от Аллы, от ее спущенных колготок, цыпок и болячек, сигнал бедствия. И любила ее той же обжигающей, болезненной любовью, как выдуманного человека и незнакомого мальчика, только в тысячу раз сильнее, ведь Алла была настоящая и знакомая.

Потом Алла куда-то пропала из моей жизни: то ли она перестала ходить в сад, то ли я уже пошла в школу. Но однажды, когда я совсем забыла эту свою любовь, мы с мамой опять возвращались домой темным холодным вечером. И вдруг я увидела Аллу. Она стояла в одном халате у двери в свой подъезд и заливалась слезами. Секунду мы смотрели друг другу в глаза. И Алла, правильно угадав, что на меня надежды нет, первая отвернулась. И я, словно отпущенная на свободу, со смешанным чувством облегчения и стыда тоже поспешила отвернуться и пройти мимо.

Однако горечь, побежденная в этот раз моей «нормальностью», отступила только для виду и затаилась внутри. Следующим ее ударом была Алена с пятого этажа, с которой я подружилась, живя у бабушки на каникулах.

Аленина мать периодически исчезала и возвращалась домой всякий раз с новым «папой», который, однако, не всегда желал признавать названую дочку. Поэтому Алена часто жила в подъезде, в коробке из-под телевизора.

Я Алене страстно завидовала: у нее был собственный, отдельный от взрослых дом, и она могла гулять, сколько влезет — никто не загонял ее обедать и не пичкал насильно супом. Суп Алена ела прямо из пакета, аппетитно хрустя

сухим горохом и облизывая соленые пальцы. Пакеты она таскала из квартиры, когда мать с кавалером уходили в магазин.

Алена казалась мне самым счастливым человеком на свете, и поначалу моя тяга к ней была продиктована не горечью, а восхищением и любопытством. Мы вдвоем играли в Аленушкой в коробке, и я мечтала, как прекрасно было бы остаться тут на ночь.

Но однажды все изменилось. Алена сделалась изгоем. Для этого не было никаких поводов и причин. Просто как-то утром мы вышли гулять, и всю нашу дворовую стайку мигом облетела весть: «водиться с этой — позорно». Может, это был плод какой-нибудь воспитательной семейной беседы, а может, мы сами вдруг прозрели за веселым Аленушкиным нравом стыдное и недозволенное: несчастье.

К этому моменту я уже прошла все «статусные» испытания и была признана во дворе своей. Я трижды спускалась в подвал, на двери которого было написано: «Гистапо. Часы работы с 9 до 18». Участвовала во всех вылазках против детсадовского сторожа, который, к нашей радости, гонялся за нами каждый раз, когда мы перелезали через забор. Я бегала по гаражам, стреляла из рогатки, кидала с балкона в прохожих бумажные бомбочки с водой и мет-

ко плевалась сквозь дырку от двух передних зубов. Я была безоговорочно *своей*. И мне впервые в жизни было почти не страшно пойти на поводу у собственной горечи, презрев правила хорошего тона.

В то утро, когда мы все отвернулись от Алены, я на всякий случай еще раз подтвердила свой авторитет, спрыгнув на спор с крыши подъезда. После чего залепила подорожником разбитую коленку и, не таясь, пошла на пятый этаж. Алена сидела в своей коробке. Она, конечно, не плакала, как мне вообразилось, но моему появлению обрадовалась несказанно.

Время от времени кто-нибудь из *наших* заглядывал на этаж и, демонстративно не замечая Алену, звал меня то играть в прятки, то кататься на тарзанке в овраг. Каждый раз Алена, как-то сразу принявшая свою новую роль, покорно сникала и даже не пыталась удержать меня, понимая, что с прятками и тарзанкой ей тягаться бессмысленно. И каждый раз я, внутренне разрываясь от восторга, отказывалась и оставалась с Аленой.

Это была первая победа горечи над здравым смыслом. Совсем не помню, как складывались наши отношения с дворовой компанией после моего демарша к Алене. Видимо, обо-

шлось без последствий, иначе бы в памяти остался какой-то след.

Через год, приехав к бабушке на лето, я обнаружила, что на пятом этаже живут незнакомые люди. А там, где стояла Аленина коробочка, лежит аккуратный половичок.

Конец мира

Но, в конце концов, горечь нашла себе объективную причину. Переезд в другой город разрушил мой мир: и мой покой, и мою вселенную. Я раз и навсегда очутилась на выдувающем душу сквозняке, и никакие стены не могли меня защитить, дать ощущение дома. Вырванная из той почвы, где росла, я больше нигде не смогла укорениться.

Вещи постепенно укладывались в ящики, выкидывались, раздавались друзьям. В квартире становилось все просторней. И все тревожней. Я до последнего не верила, что мой дом так безропотно отдаст меня. Хотя с самого начала знала: это произойдет неизбежно.

Ощущение непоправимости особенно прихватывало при взгляде на переводные картинки над кухонным столом. Там были наклеены тропические животные — слоны, носороги, антилопы гну. Я знала их до мельчайших под-

робностей. Те, что были поближе к моему месту, наполовину стерлись — так часто я их гладила, терла, тыкала пальцем, пробовала на вкус.

Неизменные спутники моих детских трапез, сочувственно смотревшие в тарелку с манной кашей, в которой мама рисовала вареньем смешные рожицы, а иногда и целые пейзажи — чтоб веселее было есть, их невозможно было взять с собой. Как вид из окна на Каму. Как загогулину засохшей краски в подъезде, похожую на кудрявую собачонку. Как куст сирени во дворе, полный божьих коровок, светлячков и счастливых пятиконечных цветочков. Как синий почтовый ящик, на котором однажды зимой мы нашли ожившую на солнцепеке бабочку.

Мой мир рушился. Части вселенной исчезали со своих вековечных мест, оставляя лишь контуры на обоях. Даже шкаф, на котором так восхитительно страшно было сидеть, огромный и незыблемый, как гора, и тот превратился в неузнаваемую грудку досок, отталкивающую своим беспомощным хаосом и отсутствием формы.

И вот наступил день отъезда. Последний раз я взглянула из окна на Каму. Потом, скрепя сердце, обернулась. Все мои звери смотре-

ли на меня с голой стены, и полустертая антилопа покорно нагибала шею. В эту секунду что-то сдвинулось внутри, и горечь вырвалась из глубин, где ждала своего часа, — и затопила меня с головой. Уже безраздельно.

Содержание

В Африку, куда же еще? повесть	5
<i>Рассказы</i>	
Когда нам было по пятнадцать лет	89
Детство в фотографиях	95
Дачная жизнь	98
Детский мир растений	104
Немного толку	110
Сизые булыжники	122
Людь	127
Первая любовь	137
Первые стихи	144
Настоящий Друг	148
Не ваше дело	152
Тихий ужас	166
Смерть весной	185
Чувство горечи	194

Наталья Ключарёва

В АФРИКУ, КУДА ЖЕ ЕЩЕ?

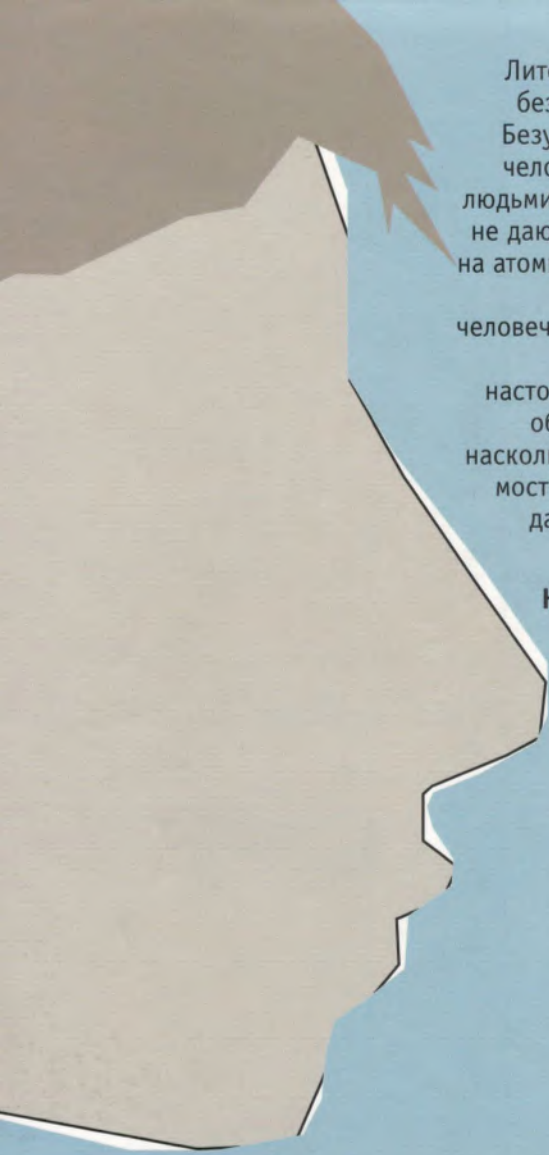
Редактор В. Левенталь. Художественный редактор А. Веселов. Корректор Т. Самсонова. Компьютерная верстка О. Леоновой.

Подписано в печать 25.11.10. Формат 75 x 90^{1/32}. Бумага офсетная. Гарнитура Академическая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 13. Тираж 3000 экз. Заказ 6043.

ООО «Издательство К. Тублина». 190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14. Тел. 712-67-06. Отдел маркетинга: тел. 575-09-63, факс 712-67-06.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «Типография Правда 1906», 195299, Санкт-Петербург, ул. Киришская, д. 2. Тел. 531-20-00.

Информацию о книгах
нашего издательства
вы можете найти на сайтах
www.limbuspress.ru
www.limbus-press.ru



Литература для меня не
безусловная ценность.
Безусловная ценность –
человек. И связи между
людьми, скрепляющие мир,
не дающие ему распасться
на атомы. И литература, как
и любая другая
человеческая деятельность,
имеет смысл лишь
настолько, насколько она
обращена к человеку,
насколько она протягивает
мосты между людьми, не
дает им окончательно
замкнуться в себе.

Наталья Ключарёва

ISBN 978-5-8370-0595-4



9 785837 005954

www.limbuspress.ru